



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### **Usage guidelines**

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как минимум о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

### **Правила использования**

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.  
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.  
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.  
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.  
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

### **О программе Поиск книг Google**

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

B 1,347,061

Novelle von  
Leonid Andrejew



Preis 1,20 Mark

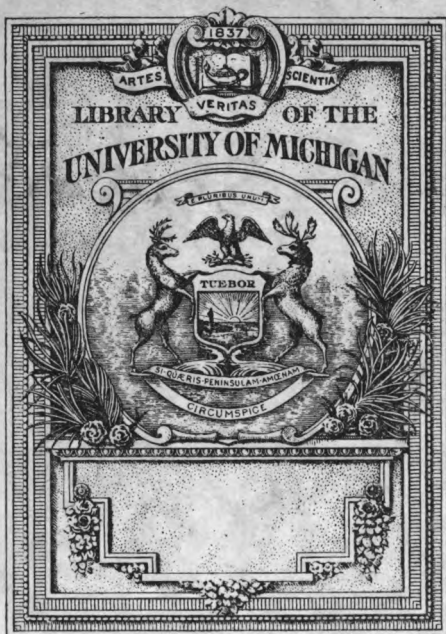
Цѣна 1 м. 20 пф.

891.78  
A56t

Леонидъ Андреевъ

# ТЪМА

BERLIN  
J. LADYSCHNIKOW  
VERLAG



THE GIFT OF  
Prof. C. L. Meader

L. T. V. Meader.  
Ann Arbor.

**Finsternis**  
Novelle von Leonid Andrejew (München) 9.1.08.106

---

U. 120

891.38

A 56 \*

*Leonid Andrejew*  
**ЛЕОНИДЪ АНДРЕЕВЪ**

*Тьма*  
**ТЬМА**

BERLIN

Bühnen- und Buchverlag russischer Autoren  
J. Ladyschnikow

1907

**Право собственности внѣ Россіи закрѣплено за авторомъ  
во всѣхъ странахъ —  
гдѣ это допускается существующими законами.**

---

**Alle Rechte vorbehalten,  
insbesondere das Uebersetzungsrecht in fremde  
Sprachen.**

---

**DRUCK VON ROSENTHAL & CO, BERLIN SO. 16.  
Runge-Strasse 20.**

# Тьма





## I.

Обычно происходило такъ, что во всѣхъ его дѣлахъ ему сопутствовала удача; но въ эти три послѣдніе дня обстоятельства складывались крайне неблагоприятно, даже враждебно. Какъ человѣкъ, вся недолгая жизнь котораго была похожа на огромную, опасную, страшно азартную игру, онъ зналъ эти внезапныя перемѣны счастья и умѣлъ считаться съ ними — ставкою въ игрѣ была сама жизнь, своя и чужая, и уже одно это приучило его къ вниманію, быстрой сообразительности и холодному, твердому расчету.

Приходилось изворачиваться и теперь. Какая то случайность, одна изъ тѣхъ маленькихъ случайностей, которыхъ нельзя предусмотрѣть, навела на его слѣдъ полицію; и вотъ теперь уже двое сутокъ за нимъ, извѣстнымъ террористомъ, бомбометателемъ, непрерывно охотились сыщики, настойчиво загоняя его въ тѣсный замкнутый кругъ. Одна за другою были отрѣзаны отъ него тѣ конспиративныя квартиры, гдѣ онъ могъ бы укрыться; оставались еще свободными нѣкоторыя улицы, бульвары и рестораны, но страшная усталость отъ двухсуточной бессонницы и крайней напряженности вниманія представляла новую опасность: онъ могъ заснуть гдѣнибудь на бульварной скамейкѣ, или даже на извозчикѣ, и самымъ нелѣпымъ образомъ, какъ пьяный, попасть въ участокъ. Это было во вторникъ. Въ четвергъ же, черезъ одинъ только день, предстояло совершеніе очень крупнаго террористическаго акта. Подготовкою къ убійству въ теченіе продолжительнаго времени

была занята вся ихъ небольшая организація, и „честь“ бросить эту послѣднюю, рѣшительную бомбу была предоставлена именно ему. Необходимо было продержаться во что бы то ни стало.

И вотъ тогда, октябрьскимъ вечеромъ, стоя на перекресткѣ двухъ людныхъ улицъ, онъ рѣшилъ поѣхать въ этотъ домъ терпимости въ —омъ переулкѣ. Онъ уже и раньше прибѣгъ бы къ этому несовсѣмъ, впрочемъ, надежному средству, если бы не нѣкоторое осложняющее обстоятельство: въ свои двадцать шесть лѣтъ онъ былъ дѣвственникомъ, совсѣмъ не зналъ женщинъ, какъ таковыхъ и никогда не бывалъ въ публичныхъ домахъ. Когда то, въ свое время, ему пришлось выдержать тяжелую и трудную борьбу съ бунтующей плотью, но постепенно воздержаніе перешло въ привычку и выработалось спокойное, совершенно безразличное отношеніе къ женщинѣ. И теперь, поставленный въ необходимость такъ близко столкнуться съ женщиной, которая занимается любовью, какъ ремесломъ, быть можетъ увидѣть ее голою — онъ предчувствовалъ цѣлый рядъ своеобразныхъ и чрезвычайно неприятныхъ неловкостей. Въ крайнемъ случаѣ, если это окажется необходимымъ, онъ рѣшилъ сойтись съ проституткой, такъ какъ теперь, когда плоть уже давно не бунтовала, и предстоялъ такой важный и огромный шагъ — дѣвственность и борьба за нее теряли свою цѣну. Но во всякомъ случаѣ это было неприятно, какъ бываетъ иногда неприятна какая-нибудь противная мелочь, черезъ которую необходимо перейти. Однажды при совершеніи важнаго террористическаго акта, при которомъ онъ находился въ качествѣ запаснаго метальщика, онъ видѣлъ убитую лошадь съ изорваннымъ задомъ и выпавшими внутренностями; и эта грязная, отвратительная, ненужно-необходимая мелочь дала тогда ощущеніе въ своемъ родѣ даже болѣе неприятное, чѣмъ смерть товарища отъ брошенной бомбы. И насколько спокойно,

безтрепетно и даже радостно представлялъ онъ себѣ четвергъ, когда и ему придется, вѣроятно, умереть — настолько предстоящая ночь съ проституткой, съ женщиной, которая занимается любовью, какъ ремесломъ, казалась ему нелѣпой, полной чего то безтолковаго, воплощеніемъ маленькаго, сумбурнаго, грязноватаго хаоса.

Но другого выбора не было. И онъ уже шатался отъ усталости.

## II.

Было еще совсѣмъ рано, когда онъ пріѣхалъ, около десяти часовъ, но большая бѣлая зала съ золочеными стульями и зеркалами была готова къ принятію гостей, и всѣ огни горѣли. Возлѣ фортепіано съ поднятой крышкой сидѣлъ таперъ, молодой, очень приличный человекъ въ черномъ скюртукѣ — домъ былъ изъ дорогихъ — курилъ, осторожно сбрасывая пепель съ папирсы, чтобы не запачкать платья и перебиралъ ноты; и въ углу, ближнемъ къ полутемной гостиной, на трехъ стульяхъ подъ рядъ, сидѣли три дѣвушки и о чемъ то тихо разговаривали.

Когда онъ вошелъ съ хозяйкой, двѣ дѣвушки встали, а третья осталась сидѣть; и тѣ, которыя встали, были сильно декольтированы, а на сидѣвшей было глухое, черное платье. И тѣ двѣ смотрѣли на него прямо, съ равнодушнымъ и усталымъ вызовомъ, а эта отвернулась, и профиль у нея былъ простой и спокойный, какъ у всякой порядочной дѣвушки, которая задумалась. Это она, повидимому, что то рассказывала подругамъ, а тѣ ее слушали, и теперь она продолжала думать о рассказанномъ, молча рассказывала дальше. И потому, что она молчала и думала, и потому, что она не смотрѣла на него, и потому, что у нея только одной былъ видъ порядочной женщины — онъ выбралъ ее.

Онъ никогда раньше не бывалъ въ домахъ терпимости и не зналъ, что въ каждомъ хорошо поставленномъ домѣ есть одна, даже двѣ такія женщины — одѣты онѣ бываютъ въ черное, какъ монахини или молодыя вдовы, лица у нихъ блѣдныя, безъ румянъ и даже строгія; и задача ихъ — давать иллюзію порядочности тѣмъ, кто ее ищетъ. Но когда онѣ уходятъ въ спальню съ мужчинами и тамъ напиваются, онѣ становятся, какъ и всѣ, иногда даже хуже: часто скандалятъ и колотятъ посуду, иногда пляшутъ, раздѣвшись голыми, и такъ голыми выскакиваютъ въ залъ, а иногда даже бьютъ слишкомъ назойливыхъ мужчинъ. Это какъ разъ тѣ женщины, въ которыхъ влюбляются пьяные студенты и уговариваютъ начать новую, честную жизнь.

Но онъ этого не зналъ. И когда она поднялась нехотя и хмуро, съ неудовольствіемъ взглянула на него подведенными глазами и какъ то особенно рѣзко мелькнула блѣднымъ, матово блѣднымъ лицомъ — онъ еще разъ подумалъ: „какая она порядочная, однако!“ — и почувствовалъ облегченіе. Но продолжая то вѣчное и необходимое притворство, которое двоило его жизнь и дѣлало ее похожею на сцену, онъ качнулся какъ то очень фатовски на ногахъ, съ носковъ на каблуки, щелкнулъ пальцами и сказалъ дѣвушкѣ развязнымъ голосомъ опытнаго развратника:

— Ну, какъ, моя цыпочка? Пойдемъ къ тебѣ, а? Гдѣ тутъ твоё гнѣздышко?

— Сейчасъ? — удивилась дѣвушка и подняла брови.

Онъ засмѣялся игриво, открывъ ровные, сплошные, крѣпкіе зубы, густо покраснѣлъ и отвѣтилъ:

— Конечно. Чего же намъ терять драгоценное время?

— Тутъ музыка будетъ. Танцовать будемъ.

— Но что такое танцы, моя прелесть? Пустое верченіе, ловля самого себя за хвостъ. А музыку, я думаю, и оттуда слышно?

Она посмотрѣла на него и улыбнулась:

— Немного слышно.

Онъ начиналъ ей нравиться. У него было широкое, скуластое лицо, сплошь выбритое; щеки и узкая полоска надъ твердыми, четко обрисованными губами слегка синѣли, какъ это бываетъ у очень черноволосыхъ брѣющихся людей. Были красивы и темные глаза, хотя во взглядѣ ихъ было что то слишкомъ неподвижное, и ворочались они въ своихъ орбитахъ медленно и тяжело, точно каждый разъ проходили очень большое разстояніе. Но хотя и бритый, и очень развязный, на актера онъ не былъ похожъ, а скорѣе на обрусѣвшаго иностранца, на англичанина.

— Ты не нѣмецъ? — спросила дѣвушка.

— Немножко. Скорѣе англичанинъ. Ты любишь англичанъ?

— А какъ хорошо говоришь по-русски. Совсѣмъ незамѣтно.

Онъ вспомнилъ свой англійскій паспортъ, тотъ коверканый языкъ, которымъ говорилъ все послѣднее время и то, что теперь забылъ притвориться какъ слѣдуетъ и снова покраснѣлъ. И уже нахмурившись нѣсколько, съ сухой дѣловитостью, въ которой чувствовалось утомленіе, взялъ дѣвушку подъ локоть и быстро повелъ:

— Я русскій, русскій. Ну, куда идти? Показывай. Сюда?

Въ большомъ, до полу зеркалѣ, рѣзко и четко отразилась ихъ пара: она — въ черномъ, блѣдная и на разстояніи очень красивая, и онъ — высокій, широкоплечій, такъ же въ черномъ и такъ же блѣдный. Особенно блѣденъ казался подъ верхнимъ свѣтомъ электрической люстры его открытый лобъ и твердая выпуклости щекъ; а вмѣсто глазъ, и у него, и у дѣвушки были черные, нѣсколько таинственные, но красивые провалы. И такъ необычна была ихъ черная, строгая пара среди бѣлыхъ

стѣнѣ, въ широкой, золоченой рамѣ зеркала, что онъ въ изумленіи остановился и подумалъ: какъ женихъ и невѣста. Впрочемъ отъ бессонницы, вѣроятно, и отъ усталости, соображалъ онъ плохо, и мысли были неожиданныя, нелѣпыя; потому что въ слѣдующую минуту взглянувъ на черную, строгую, траурную пару, подумалъ: какъ на похоронахъ. Но и то и другое было одинаково неприятно.

Повидимому и дѣвушкѣ передалось его чувство: такъ же молча, съ удивленіемъ она разглядывала его и себя, себя и его; попробовала прищурить глаза, но зеркало не отвѣтило на это легкое движеніе и все такъ же тяжело и упорно продолжало вычерчивать черную застывшую пару. И показалось ли это дѣвушкѣ красивымъ, или напомнило что-нибудь свое, немного грустное — она улыбнулась тихо и слегка пожала его твердо согнутую руку.

— Какая парочка! — сказала она задумчиво, и почему то сразу стали замѣтнѣе ея большія черно-лучистыя рѣсницы съ тонко изогнутыми концами.

Но онъ не отвѣтилъ и рѣшительно пошелъ дальше, увлекая дѣвушку, четко постукивавшую по паркету высокими, французскими каблуками. Былъ корридоръ, какъ всегда, темныя, неглубокія комнатки съ открытыми дверями, и въ одну комнату, на двери которой было написано неровнымъ почеркомъ „Люба“ — они вошли.

— Ну вотъ что, Люба, — сказалъ онъ, оглядываясь и привычнымъ жестомъ потирая руки, одну о другую, такъ, будто старательно мыль ихъ въ холодной водѣ, — надобно вина и еще чего тамъ? Фруктовъ, что-ли.

— Фрукты у насъ дороги.

— Это ничего. А вино вы пьете?

Онъ забылся и сказалъ ей „вы“, и хотя замѣтилъ это, но поправляться не сталъ: было что то въ недавнемъ ея пожатіи, послѣ чего не хотѣлось говорить „ты“, любезничать и притворяться. И это чувство такъ же



какъ-будто передалось ей: она пристально взглянула на него и, помедливъ, отвѣтила съ нерѣшительностью въ голосъ, но не въ смыслѣ произносимыхъ словъ:

— Да, пью. Погодите, я сейчасъ. Фруктовъ я велю принести только двѣ груши и два яблока. Вамъ хватить?

И она говорила теперь „вы“, и въ тонѣ, какимъ произносила это слово, звучала все та же нерѣшительность, легкое колебаніе, вопросъ. Но онъ не обратилъ на это вниманія и, оставшись одинъ, принялся за быстрый и всесторонній осмотръ комнаты. Попробоваль, какъ запирается дверь — она запиралась хорошо, крючкомъ и на ключъ; подошелъ къ окну, раскрыль обѣ рамы — высоко, на третьемъ этажѣ и выходитъ во дворъ. Сморщилъ носъ и покачалъ головою. Потомъ сдѣлалъ опытъ надъ свѣтомъ: двѣ лампочки, и когда гаснетъ вверху одна, зажигается другая у кровати съ краснымъ колпачкомъ — какъ въ приличныхъ отеляхъ.

Но кровать! . .

Поднялъ высоко плечи — и оскалился, дѣлая видъ, что смѣется, но не смѣясь съ той потребностью двигать и играть лицомъ, какая бываетъ у людей скрытныхъ и почему-либо таящихся, когда они остаются, наконецъ, одни.

Но кровать!

Обошелъ ее, потрогалъ ватное, стеганое, откинутае одѣяло и съ внезапнымъ желаніемъ съозорничать, радуясь предстоящему сну, по-мальчишески скривилъ голову, выпятилъ впередъ губы и вытаращилъ глаза, выражая этимъ высшую степень изумленія. Но тотчасъ же сдѣлался серьезень, сѣлъ и утомленно сталъ поджидать Любу. Хотѣлъ думать о четвергѣ, о томъ, что онъ сейчасъ въ домѣ терпимости, уже въ домѣ терпимости, но мысли не слушались, щетинились, кололи другъ друга. Это начиналъ раздражаться обиженный сонъ. Такой мягкій тамъ, на улицѣ, теперь онъ не гладилъ ласково по лицу волосатой шерстистой ладонью,

а крутилъ ноги, руки, растягивалъ тѣло, точно хотѣлъ разорвать его. Вдругъ началъ зѣвать, истово, до слезъ. Вынулъ браунингъ, три запасныя обоймы съ патронами и со злостью подулъ въ стволъ, какъ въ ключъ — все было въ порядкѣ, и нестерпимо хотѣлось спать.

Когда принесли вино и фрукты и пришла запоздавшая почему то Люба, онъ заперъ дверь — сперва только на одинъ крючокъ — и сказалъ:

— Ну вотъ что . . . вы пейте, Люба. Пожалуйста.

— А вы? — удивилась дѣвушка и искоса, быстро взглянула на него.

— Я потомъ. Я, видите ли, я двѣ ночи кутилъ, и не спалъ совсѣмъ, и теперь . . . — онъ страшно зѣвнулъ, выворачивая челюсти.

— Ну?

— Я скоро. Я одинъ только часокъ . . . Я скоро. Вы пейте, пожалуйста, не стѣсняйтесь. И фрукты кушайте. Отчего вы такъ мало взяли?

— А въ залъ мнѣ можно пойти? Тамъ скоро музыка будетъ.

Это было неудобно. О немъ, о странномъ посѣтителѣ, который улегся спать, начнуть говорить, догадываться — это было неудобно. И легко сдержавъ зѣвоту, которая уже сводила челюсти, попросилъ сдержанно и серьезно:

— Нѣтъ. Люба, я попрошу васъ остаться здѣсь. Я, видите ли, очень не люблю спать въ комнатѣ одинъ. Конечно, это прихоть, но вы извините меня . . .

— Нѣтъ, отчего же. Разъ вы деньги заплатили . . .

— Да, да — покраснѣлъ онъ въ третій разъ. Конечно. Но не въ этомъ дѣло. И . . . если вы хотите . . . Вы тоже можете лечь. Я оставлю вамъ мѣсто. Только, пожалуйста, вы уже лягте къ стѣнѣ. Вамъ это ничего?

— Нѣтъ, я спать не хочу. Я такъ посижу.

— Почитайте что-нибудь.

— Здѣсь книгъ нѣту.



— Хотите сегодняшнюю газету? У меня есть, вотъ. Тутъ есть кое-что интересное.

— Нѣтъ, не хочу.

— Ну, какъ хотите, вамъ виднѣе. А я, если позволите . . . — и онъ заперъ дверь двойнымъ поворотомъ ключа и ключъ положилъ въ карманъ. И не замѣтилъ страннаго взгляда, какимъ дѣвушка провожала его. И вообще весь этотъ вѣжливый, пристойный разговоръ, такой дикій въ несчастномъ мѣстѣ, гдѣ самый воздухъ мутно густѣлъ отъ винныхъ испареній и ругательствъ — казался ему совершенно естественнымъ и простымъ, и вполне убѣдительнымъ. Все съ тою же вѣжливостью, точно гдѣ-нибудь на лодкѣ, при катаньи съ барышнями, онъ слегка раздвинулъ борты сюртука и спросилъ:

— Вы мнѣ позволите снять сюртукъ?

Дѣвушка слегка нахмурилась.

— Пожалуйста. Вѣдь вы . . . — но не договаривала, что.

— И жилетку? Очень узкая.

Дѣвушка не отвѣтила и незамѣтно пожалла плечами.

— Вотъ здѣсь бумажникъ, деньги. Будьте добры, спрячьте ихъ у себя.

— Вы лучше бы отдали въ контору. У насъ всѣ отдають въ контору.

— Зачѣмъ это? — но взглянулъ на дѣвушку и смущенно отвелъ глаза . . . Ахъ, да, да. Ну, пустяки какіе.

— А вы знаете, сколько здѣсь у васъ денегъ? А то нѣкоторые не знаютъ, а потомъ . . .

— Знаю, знаю. И охота вамъ . . .

И легъ, вѣжливо оставивъ одно мѣсто у стѣны. И восхищенный сонъ, широко улыбнувшись, приложился шерстистой щекою своею къ его щекѣ — одной, другою — обнялъ мягко, пощекоталъ колѣни и блаженно затихъ, положивъ мягкую, пушистую голову на его грудь. Онъ засмѣялся.

— Чего вы смѣтаетесь? — неохотно улыбнулась дѣвушка.

— Такъ. Хорошо очень. Какія у васъ мягкія подушки! Теперь можно и поговорить немного. Отчего вы не пьете?

— А мнѣ можно снять кофточку? Вы позволите? А то сидѣть то долго придется! — въ ея голосѣ звучала легкая усмѣшка. Но встрѣтивъ его довѣрчивые глаза и предупредительное: „конечно, пожалуйста!“ серьезно и просто пояснила: У меня корсетъ очень тугой. На тѣлѣ потомъ рубцы остаются.

— Конечно, конечно, пожалуйста.

Онъ слегка отвернулся и опять покраснѣлъ. И оттого-ли, что безсонница такъ путала мысли его, оттого-ли, что въ свои 26 лѣтъ онъ былъ дѣйствительно наивенъ — и это „можно“ показалось ему естественнымъ въ домѣ, гдѣ было все позволено и никто ни у кого не просилъ разрѣшенія.

Слышно было, какъ хрустѣлъ шелкъ и потрескивали разстегиваемыя кнопки. Потомъ вопросъ:

— Вы не писатель?

— Что? Писатель? Нѣтъ, я не писатель. А что? Вы любите писателей?

— Нѣтъ. Не люблю.

— Отчего же? Они люди . . . — онъ сладко и продолжительно зѣвнулъ — ничего себѣ.

— А какъ васъ зовутъ?

Молчаніе и сонный отвѣтъ.

— Зовите меня. И . . . нѣтъ Петромъ. Петръ.

И еще вопросъ:

— А кто же вы? Кто вы такой?

Спрашивала дѣвушка тихо, но сторожно и твердо, и было такое впечатлѣніе отъ ея голоса, будто она сразу, вся, придвинулась къ лежащему. Но онъ уже не слышалъ ее, онъ засыпалъ. Вспыхнула на мгновеніе угасающая мысль и въ одной картинѣ, гдѣ время и про-

странство слились въ одну пеструю груду тѣней, мрака и свѣта, движенія и покоя, людей и безконечныхъ улицъ и безконечно вертящихся колесъ, вычертила всѣ эти два дня и двѣ ночи бѣшеной погони. И вдругъ все это затихло, потускнѣло, провалилось — и въ мягкомъ полусвѣтѣ, въ глубочайшей тишинѣ представился одинъ изъ заловъ картинной галлерей, гдѣ вчера онъ на цѣлыхъ два часа нашель покой отъ сыщиковъ. Будто сидитъ онъ на красномъ бархатномъ, необыкновенно мягкомъ диванѣ и смотритъ неподвижно на какую то большую, черную картину; и такой покой идетъ отъ этой старой, черной, потрескавшейся картины, и такъ отдыхаютъ глаза, и такъ мягко становится мыслямъ, что на нѣсколько минутъ, уже засыпающій, онъ началъ противиться сну, смутно испугался его, какъ неизвѣстнаго безпокойства.

Но заиграла музыка въ залѣ, запрыгали толкачиками коротенькіе, частые звуки съ голыми безволосыми головками, и онъ подумалъ: „теперь можно спать“ — и сразу крѣпко уснулъ. Торжествующе взвизгнулъ милый, мохнатый сонъ, обнялъ горячо — и въ глубокомъ молчаніи, затаивъ дыханіе, они понеслись въ прозрачную, тающую глубину.

\* \* \*

Такъ спалъ онъ и часъ, и два, навзничъ, въ той вѣжливой позѣ, какую принялъ передъ сномъ; и правая рука его была въ карманѣ, гдѣ ключъ и револьверъ. А она, дѣвушка съ обнаженными руками и шеей, сидѣла напротивъ, курила, пила неторопливо коньякъ и глядѣла на него неподвижно; иногда, чтобы лучше разглядѣть, она вытягивала тонкую гибкую шею и вмѣстѣ съ этимъ движеніемъ у концовъ губъ ея выростали двѣ глубокія, напряженныя складки. Верхнюю лампочку онъ забылъ погасить, и при сильномъ свѣтѣ ея былъ

ни молодой, ни старый, ни чужой, ни близкій, а весь какой то неизвѣстный: неизвѣстныя щеки, неизвѣстность, загнутый клювомъ, какъ у птицы, неизвѣстное, ровное, крѣпкое, сильное дыханіе. Густые черные волосы на головѣ были острижены коротко, по-солдатски; и на лѣвомъ вискѣ, ближе къ глазу, былъ небольшой побѣлевшій шрамъ отъ какого то стараго ушиба. Креста на шеѣ у него не было.

Музыка въ залѣ то замирала, то вновь раздражалась звуками клавишъ и скрипки, пѣніемъ и топотомъ танцующихъ ногъ, а она все сидѣла, курила папиросы и разглядывала спящаго. Внимательно, вытянувъ шею, рассмотрѣла его лѣвую руку, лежавшую на груди: очень широкая въ ладони, съ крупными спокойными пальцами — на груди она производила впечатлѣніе тяжести, чего то давящаго больно; и осторожнымъ движеніемъ дѣвушка сняла ее и положила вдоль туловища на кровати. Потомъ встала быстро и шумно и съ силою, точно желая сломать рожокъ, погасила верхній свѣтъ и зажгла нижній, подъ краснымъ колпачкомъ.

Но онъ и въ этотъ разъ не пошевелился, и все тѣмъ же неизвѣстнымъ, пугающимъ своей неподвижностью и покоемъ осталось его порозовѣвшее лицо. И отвернувшись, охвативъ колѣна голыми нѣжно розовѣющими руками, дѣвушка закинула голову и неподвижно уставилась въ потолокъ черными провалами немигающихъ глазъ. И въ зубахъ ея, стиснутая крѣпко, застыла недокурная, потухшая папироса.

### III.

Что то произошло неожиданное и грозное. Что то большое и важное случилось, пока онъ спалъ — онъ понялъ это сразу, еще не проснувшись какъ слѣдуетъ, при первыхъ же звукахъ незнакомаго, хриплаго голоса, понялъ тѣмъ изошреннымъ чутьемъ опасности, которое

у него и его товарищей составляла какъ бы особое, новое чувство. Быстро спустилъ ноги и сѣлъ, и уже крѣпко сжалъ рукою револьверъ, пока глаза остро и зорко обыскивали розовый туманъ. И когда увидѣлъ ее все въ той же позѣ, съ прозрачно розовыми плечами и грудью и загадочно почернѣвшими, неподвижными глазами, подумалъ: выдала! Посмотрѣлъ пристальнѣе, передохнулъ глубоко и поправился: еще не выдала, но выдасть.

Плохо!

Вздохнулъ еще и коротко спросилъ:

— Ну? Что?

Но она молчала. Улыбалась торжествующе и зло, смотрѣла на него и молчала — будто уже считала его своимъ и, не торопясь, никуда не спѣша, хотѣла наслаждаться своею властью.

— Ты что сказала сейчасъ? — повторилъ онъ нахмурившись.

— Что я сказала? Вставай, я сказала, вотъ что. Будеть. Поспалъ. Будеть. Пора и честь знать. Тутъ не ночлежка, миленькій!

— Зажги лампочку — приказалъ онъ.

— Не зажгу.

Зажегъ самъ. И увидѣлъ подъ бѣлымъ свѣтомъ безконечно злые, черные, подведенные глаза и ротъ, сжатый ненавистью и презрѣніемъ. И голая руки увидѣлъ. И всю ее, чуждую, рѣшительную, на что то безповоротно готовую. Отвратительной показалась ему эта проститутка.

— Что съ тобою — ты пьяна? — спросилъ онъ серьезно и безпокойно, и протянулъ руку къ своему высокому крахмальному воротнику. Но она предупредила его движеніе, схватила воротничекъ и, не глядя, бросила куда то въ уголъ, за комодъ.

— Не дамъ!

Тѣмъ.

— Это еще что? — сдержанно крикнулъ онъ и стиснулъ ея руку твердымъ, крѣпкимъ, круглымъ, какъ желѣзное кольцо пожатіемъ, и тонкая рука безсильно распростерла пальцы.

— Пусти, больно! — сказала дѣвушка, и онъ сжалъ слабѣе, но руки не выпустилъ.

— Ты смотри!

— А что, миленькій? Застрѣлить меня хочешь, да? Это что у тебя въ карманѣ, — револьверъ? Что же, застрѣли, застрѣли, посмотрю я, какъ это ты меня застрѣлишь? Какъ же, скажите пожалуйста, пришелъ къ женщинѣ, а самъ спать легъ. Пей, говорить, а я спать буду. Стриженный, бритый, такъ никто, думаетъ, не узнаетъ. А въ полицію хочешь? Въ полицію, миленькій, хочешь?

Она засмѣялась громко и весело — и дѣйствительно, онъ съ ужасомъ увидѣлъ это: на ея лицѣ была дикая, отчаянная радость. Точно она сходила съ ума. И отъ мысли, что все погубло такъ нелѣпо, что придется совершить это глупое, жестокое и ненужное убійство, и все-таки, вѣроятно, погибнуть — стало еще ужаснѣе. Совсѣмъ бѣлый, но все еще съ виду спокойный, все еще рѣшительный онъ смотрѣлъ на нее, слѣдилъ за каждымъ движеніемъ и словомъ и соображалъ.

— Ну? Что же молчишь? Языкъ отъ страху отнялся?

Взять эту гибкую змѣяную шею и сдвинуть; крикнуть она, конечно, не успѣетъ. И не жалко — правда, теперь, когда рукою онъ удерживаетъ ее на мѣстѣ, она ворочаетъ головой совершенно по змѣиному. Не жалко, но тамъ, внизу?

— А ты знаешь, Люба, кто я?

— Знаю. Ты — она твердо и нѣсколько торжественно, по слогамъ, произнесла: — ты революціонеръ. Вотъ кто.

— А откуда это извѣстно?

Она улыбнулась насмѣшливо.

— Не въ лѣсу живемъ.

— Ну, допустимъ . . .

— То-то, допустимъ. Да руку то не держи. Надъ женщиной всѣ вы умѣете силу показывать. Пусти!

Онъ опустилъ руку и сѣлъ, глядя на дѣвушку съ тяжелой и упорной задумчивостью. Въ скулахъ у него что то двигалось, бѣгалъ безпокойно какой то шарикъ, но все лицо было спокойно, серьезно, и немного печально. И опять онъ, съ этой задумчивостью своей и печалью, сталъ неизвѣстный и должно быть очень хорошій.

— Ну, что уставился! — грубо крикнула дѣвушка и неожиданно для себя самой прибавила циничное ругательство. Онъ поднялъ удивленно брови, но глазъ не отвелъ, и заговорилъ спокойно, и нѣсколько глухо и чуждо, будто съ очень большого разстоянія.

— Вотъ что, Люба. Конечно, ты можешь предать меня, и не одна ты можешь это сдѣлать, а всякій въ этомъ домѣ, почти каждый человѣкъ съ улицы. Крикнетъ: держи, хватай! — и сейчасъ же соберутся десятки, сотни и постараются схватить, даже убить. А за что? Только за то, что никому я не сдѣлалъ плохого, только за то, что всю мою жизнь я отдалъ этимъ же людямъ. Ты понимаешь, что это значить: отдалъ всю жизнь?

— Нѣтъ, не понимаю — рѣзко отвѣтила дѣвушка. Но слушала внимательно.

— И одни сдѣлаютъ это по глупости, другіе по злобѣ. Потому что, Люба, не выносить плохой хорошаго, не любятъ злые добрыхъ . . .

— А за что ихъ любить?

— Не подумай, Люба, что я такъ, нарочно, хвалю себя. Но посмотри: что такое моя жизнь, вся моя жизнь? Съ четырнадцати лѣтъ я треплюсь по тюрьмамъ. Изъ гимназіи выгнали, изъ дому выгнали — родители выгнали. Разъ чуть не застрѣлили меня, чудомъ спасся.

И вотъ какъ подумаешь, что всю жизнь такъ, всю жизнь только для другихъ — и ничего для себя. Ничего.

— А отчего же это ты такой хорошей? — спросила дѣвушка насмѣшливо, но онъ серьезно отвѣтилъ:

— Не знаю. Родился, должно быть, такой.

— А я вотъ плохая родилась. А вѣдь тѣмъ же мѣстомъ на свѣтъ шла, какъ и ты — головою! Поди жъ ты!

Но онъ какъ будто не слыхалъ. Съ тѣмъ же взглядомъ внутрь себя, въ свое прошлое, которое теперь въ словахъ его вставало передъ нимъ самимъ такъ неожиданно и просто героичнымъ — онъ продолжалъ:

— Ты подумай: мнѣ двадцать шесть лѣтъ, на вискахъ у меня уже сѣдина, а я до сихъ поръ — онъ запнулся немного, но окончилъ твердо и даже съ надменностью: я до сихъ поръ не знаю женщинъ. Понимаешь, совсѣмъ. И тебя я первою вижу вотъ такъ. И скажу правду, мнѣ немного стыдно смотрѣть на твои голыя руки.

Снова отчаянно заиграла музыка, и отъ топота ногъ въ залѣ задрожалъ слегка полъ. И кто то, пьяный, отчаянно гикалъ, какъ будто гналъ табунъ разъярившихся коней. А въ ихъ комнатѣ было тихо, и слабо колыхался въ розовомъ туманѣ табачный дымъ и таялъ.

— Такъ вотъ, Люба, какая моя жизнь! — и онъ задумчиво и строго опустилъ глаза, покоренный воспоминаніями о жизни, такой чистой и мучительно прекрасной. А она молчала. Потомъ встала и накинула на голыя плечи платокъ. Но, встрѣтивъ его удивленный и словно благодарный взглядъ, усмѣхнулась и рѣзко сдернула платокъ, и такъ сдѣлала рубашку, что одна, прозрачно розовая и нѣжная грудь обнажилась совсѣмъ. Онъ отвернулся и слегка пожалъ плечами.

— пей! — сказала дѣвушка. — Будетъ ломаться.

— Я не пью совсѣмъ.

— Не пьешь? А я вотъ пью! — и она опять нехорошо засмѣялась.



— Вотъ если папироски у тебя есть, я возьму.

— У меня плохія.

— А мнѣ все равно.

И когда бралъ папиросу замѣтилъ съ радостью, что рубашку Люба поправила — явилась надежда, что все еще уладится. Курилъ онъ плохо, не затягиваясь, и папиросу держалъ, какъ женщина, между двумя напряженно выпрямленными пальцами.

— Ты и курить то не умѣешь — сказала дѣвушка, гнѣвно и грубо вырвала папиросу изъ его рукъ. — Брось.

— Вотъ ты опять сердишься . . .

— Да, сержусь.

— А за что, Люба? Ты подумай: вѣдь я правда двѣ ночи не спалъ, какъ волкъ бѣгалъ по городу. Ну и выдашь ты меня, ну и заберутъ меня — тебѣ какая отъ этого радость. Такъ вѣдь я, Люба, живой то еще и не сдамся . . .

Онъ замолчалъ.

— Стрѣлять будешь?

— Да. Стрѣлять буду.

Музыка оборвалась, но тотъ дикій, обезумѣвшій отъ вина продолжалъ еще гикать; видимо кто то, шутя или серьезно, зажималъ ему ротъ рукою, и сквозь пальцы звукъ прорывался еще болѣе отчаяннымъ и страшнымъ. Въ комнаткѣ пахло духами, не то душистымъ, дешевымъ мыломъ, и запахъ былъ густой, влажный, развратный; и на одной стѣнѣ, неприкрытая, висѣли смято и плоско какія то юбки и кофточки. И такъ все это было противно, и такъ странно было подумать, что это — то же жизнь и такой жизнью люди могутъ жить всегда, что онъ съ недоумѣніемъ пожалъ плечами и еще разъ медленно оглянулся.

— Какъ тутъ у васъ! — сказалъ онъ раздумчиво и остановился глазами на Любѣ.

— Ну? — спросила она коротко.

И взглянувъ на нее, какъ она стояла, онъ понялъ,

что ее надо пожалѣть; и какъ только понялъ, тотчасъ же искренно пожалѣлъ.

— Бѣдная ты, Люба.

— Ну?

— Дай руку.

И, нѣсколько подчеркивая свое отношеніе къ дѣвушкѣ, какъ къ человѣку, взявъ ея руку и почтительно приложилъ къ губамъ.

— Это ты мнѣ?

— Да, Люба, тебѣ.

И совсѣмъ тихо, точно благодаря его, дѣвушка произнесла:

— Вонъ! Вонъ отсюда, болванъ!

Онъ понялъ не сразу:

— Что?!

— Уходи! Вонъ отсюда. Вонъ.

Молча, крупными шагами, она прошла комнату, достала изъ угла бѣлый воротничекъ и бросила его съ такимъ выраженіемъ гадливости, точно была это самая грязная, загаженная тряпка. И такъ же молча, съ видомъ высокомерія, не удостоивая дѣвушки даже взглядомъ, онъ началъ спокойно и меленно пристегивать воротничекъ; но уже въ слѣдующую секунду, взвизгнувъ дико, Люба съ силою ударила его по бритой щекѣ. Воротничекъ покатился по полу, и самъ онъ пошатнулся, но устоялъ на ногахъ. И страшно блѣдный, почти синій, но все такъ же молча, съ тѣмъ же видомъ высокомерія и горделиваго недоумѣнія, остановился на Любѣ своими тяжелыми, неподвижными глазами. Она дышала часто и смотрѣла на него съ ужасомъ.

— Ну?! — выдохнула она.

Смотрѣлъ на нее и молчалъ. И совершенно безумная отъ этой надменной безответности, ужасаясь, теряя соображеніе, какъ передъ каменной глухой стѣной, дѣвушка схватила его за плечи и съ силою посадила на кровать. Наклонилась близко, къ самому лицу, къ самымъ глазамъ:

— Ну, что же ты молчишь! Что же со мной дѣлаешь, подлець, подлець же ты. Руку поцѣловаль! Хвастаться сюда пришелъ! Красоту свою показывать! Да что же ты со мною дѣлаешь, да несчастная же я!

Она трясла его за плечи, и ея тонкія пальцы, сжимаемая и разжимаясь безсознательно, какъ у кошки, царапали его тѣло сквозь рубашку.

— Женщинъ не зналъ, подлець, да? И это мнѣ смѣешь говорить, мнѣ, которую всѣ мужчины . . . всѣ . . . Гдѣ же у тебя совѣсть, что же ты со мной дѣлаешь! Живой не дамся, да! А я вотъ мертвая — понимаешь, подлець, мертвая я. А я вотъ наплюю въ твое лицо . . . На . . . живой! На, подлець, на! Иди теперь, иди!

Съ гнѣвомъ, котораго больше не могъ сдерживать, онъ отшвырнулъ ее отъ себя, и затылкомъ она ударилась о стѣну. Повидимому, онъ уже плохо соображалъ, потому что слѣдующимъ такимъ же быстрымъ и рѣшительнымъ движеніемъ онъ выхватилъ револьверъ — точно улыбнулся чей то черный, беззубый, провалившійся ротъ. Но дѣвушка не видѣла ни его оплеваннаго, мокраго, искаженнаго бѣшенымъ гнѣвомъ лица, ни чернаго револьвера. Закрывъ ладонями глаза, точно вдавливая ихъ въ самую глубину черепа, она прошла быстрыми крупными шагами и бросилась въ постель, лицомъ внизъ. И тотчасъ же беззвучно зарыдала.

Выходило все не то, чего онъ ждалъ; получалась бессмыслица, нелѣпость, вылѣзалъ своей мятой рожей дикій, пьяный, истерическій хаосъ. Передернувъ плечами, спряталъ ненужный револьверъ и принялся ходить по комнатѣ. Дѣвушка плакала. Прошелся еще и еще — дѣвушка плакала. Остановился надъ нею, руки въ карманъ, и сталъ глядѣть. Лежала ничкомъ женщина и рыдала безумно, въ отчаянной нестерпимой мукѣ, какъ могутъ только рыдать люди надъ потерянной жизнью, надъ чѣмъ то большимъ жизни потеряннымъ навсегда.

Заострившіяся голая лопатки то сходились почти вмѣстѣ, точно снизу подъ грудь ей подкладывали огонь, горячія уголья; то раздвигались медленно — словно она уходила куда то, къ груди прижимала свою тоску и горе свое. А музыка опять играла, и теперь играла она мазурку, и слышно было, какъ шелкають чьи то шпоры. Должно быть, пріѣхали офицеры.

Такихъ слезъ онъ еще не видалъ и смутился. Вынулъ зачѣмъ то руки изъ кармана и тихо сказалъ:

— Люба!

Плакала.

— Люба, о чемъ ты, Люба!

Отвѣтила что то, но такъ тихо, что не разслыхаль. Сѣлъ возлѣ на кровать, наклонилъ стриженую крупную голову и положилъ руку на плечи — и безумнымъ трепетомъ отвѣтила рука на дрожь этихъ жалкихъ, голыхъ женскихъ плечъ.

— Я не слышу, что ты говоришь . . . Люба!

И далекое, глухое, налитое слезами:

— Подожди уходить . . . Тамъ . . . пріѣхали офицеры. Они тебя . . . могутъ . . . О, Господи, что же это такое!

Она быстро сѣла на кровать и замерла, всплеснувъ руками, неподвижно съ ужасомъ глядя въ пространство расширенными глазами. Это былъ страшный взглядъ и продолжался онъ одно мгновение. И опять дѣвушка лежала ничкомъ и плакала. А тамъ ритмично шелкали шпоры и видимо чѣмъ то возбужденной или напуганной таперъ старательно отбивалъ такты стремительной мазурки.

— Выпей воды, Любочка! . . Ну выпей, выпей. Пожалуйста — шепталъ онъ, наклонившись. Но ухо было закрыто волосами, и, боясь, что она не слышитъ, онъ осторожно отвелъ эти черные, слегка вьющіяся пряди, сожженные завивкой, и открылъ маленькую, красную, пылавшую раковинку.

— Выпей, пожалуйста, я прошу тебя.

— Нѣтъ, не хочу. Не надо. Пройдетъ и такъ.

Она дѣйствительно успокаивалась. Прекратились рыданія — одно, другое, глухое, длительное всхлипываніе, и плечи перестали дрожать и стали неподвижны и задумчивы глубоко. И онъ тихонько гладилъ ее, отъ шеи къ кружеву рубашки, и опять.

— Тебѣ лучше, Люба? . . Любочка?

Она не отвѣтила, вздохнула протяжно и, повернувшись, быстро и коротко взглянула на него. Потомъ спустила ноги и сѣла рядомъ, еще разъ взглянула и прядями волосъ своихъ вытерла ему лицо, глаза. Еще разъ вздохнула и мягкимъ простымъ движеніемъ положила голову ему на плечо, а онъ такъ же просто обнялъ ее и тихонько прижалъ къ себѣ. И то, что пальцы его прикасались къ ея голому плечу, теперь не смущало его; и такъ долго сидѣли они, и молчали, и неподвижно смотрѣли передъ собою ихъ потемнѣвшіе, сразу окружившіеся глаза. Вздыхали.

Вдругъ въ корридорѣ зазвучали голоса, шаги; зазвенѣли шпоры, мягко и деликатно, какъ это бываетъ только у молоденькихъ офицеровъ, и все это приближалось — и остановилось у ихъ двери. Онъ быстро всталъ — а въ дверь уже стучалъ кто то, сперва пальцами, потомъ кулакомъ, и чей то женскій голосъ глухо кричалъ:

— Любка, отвори!

#### IV.

Онъ смотрѣлъ на нее и ждалъ.

— Дай платокъ! — сказала она не глядя и протянула руку. Вытерла крѣпко лицо, громко высморкалась, бросила ему на колѣни платокъ и пошла къ двери. Онъ смотрѣлъ и ждалъ. На ходу Люба закрыла элек-

тричество, и сразу стало такъ темно, что онъ услышалъ свое дыханіе, нѣсколько затрудненное. И почему то снова сѣлъ на слабо скрипнувшую кровать.

— Ну, что тамъ? Чего надо? — спросила Люба сквозь дверь, не отпирая, и голосъ у нея былъ немного недовольный, но спокойный.

Сразу, перебивая другъ друга, зазвенѣло нѣсколько женскихъ голосовъ. И такъ же сразу они оборвались, и мужской голосъ, какъ то странно почтительный, настойчиво сталъ просить.

— Нѣтъ, не пойду.

Опять зазвенѣли голоса, и опять, обрѣзая ихъ, какъ ножницы обрѣзаютъ развившуюся шелковую нить, заговорилъ мужской голосъ, убѣдительный, молодой, за которымъ чувствовались бѣлые крѣпкіе зубы и усы, и шпоры звякнули отчетливо, точно говорившій кланялся. И странно: Люба засмѣялась.

— Нѣтъ, нѣтъ, не пойду. — Да, хорошо, очень хорошо. — Ну и пусть зовутъ Любовь, а я все-таки не пойду.

Еще разъ стукъ въ дверь, смѣхъ, ругательство, щелканье шпоръ, и все отодвинулось отъ двери и погасло гдѣ то въ концѣ корридора. Въ темнотѣ, нащупавъ рукою его колѣно, Люба сѣла возлѣ, но головы на плечо класть не стала. И коротко пояснила:

— Офицеры балъ устраиваютъ. Всѣхъ сзываютъ. Будутъ котильонъ танцовать.

— Люба — попросилъ онъ ласково: — зажги, пожалуйста, огонь. Не сердись.

Молча она встала и повернула рожокъ. И уже не рядомъ съ нимъ сѣла, а по прежнему на стулъ противъ кровати. И лицо у нея было хмурое, непривѣтливое, но вѣжливое — какъ у хозяйки, которая должна выждать неприятный, затянувшійся визитъ.

— Вы не сердитесь на меня, Люба?

— Нѣтъ. За что же?

— Я удивился сейчас, какъ вы весело смѣялись. Какъ это вы можете?

Она усмѣхнулась, не глядя.

— Весело, вотъ и смѣюсь. А вамъ нельзя сейчасъ уходить. Нужно подождать, пока разойдутся офицеры. Они скоро.

— Хорошо, я подожду. Спасибо вамъ, Люба.

Она опять усмѣхнулась.

— Это за что же? Какой вы вѣжливый.

— Вамъ это нравится?

— Не особенно. Вы кто по рожденію?

— Отецъ — докторъ, военный врачъ. Дѣдъ былъ мужикъ. Мы изъ старообрядцевъ.

Люба съ нѣкоторымъ интересомъ взглянула на него.

— Вотъ какъ! А креста на шеѣ нѣтъ.

— Креста? — усмѣхнулся онъ. Мы крестъ на спинѣ несемъ.

Дѣвушка нахмурилась слегка.

— Вы спать хотѣли. Вы бы лучше легли, чѣмъ такъ время проводить.

— Нѣтъ, я не лягу. Я не хочу теперь спать.

— Какъ хотите.

Было долгое и неловкое молчаніе. Люба смотрѣла внизъ и сосредоточенно вертѣла на пальцѣ колечко; онъ обводилъ глазами комнату, каждый разъ старательно минуя взглядомъ дѣвушку, и остановился на недопитой маленькой рюмкѣ съ коньякомъ. И вдругъ съ необыкновенной ясностью, почти осязательностью ему представилось, что все это уже было: и эта желтенькая рюмка, и именно съ коньякомъ, и дѣвушка внимательно оборачивающая кольцо, и онъ самъ — не этотъ, а какой то другой, нѣсколько иной, нѣсколько особенный. И какъ разъ только что кончилась музыка, какъ и теперь, и было тихое позвякиваніе шпоръ. Будто онъ жилъ уже когда то — но не въ этомъ домѣ, а въ мѣстѣ очень похожемъ на это, и какъ то дѣйствовалъ,

и даже былъ очень важнымъ въ этомъ смыслѣ лицомъ, вокругъ котораго что то происходило. Странное чувство было такъ сильно, что онъ испуганно тряхнулъ головою; и быстро оно исчезло, но не совсѣмъ: остался легкій, не сглаживающійся слѣдъ потревоженныхъ воспоминаній о томъ, чего не было. И затѣмъ не разъ въ теченіе этой необыкновенной ночи онъ ловилъ себя на томъ, что глядя на какую-нибудь вещь, или лицо, старательно припоминалъ ихъ, вызывая ихъ изъ глубокой тьмы прошедшаго или даже совсѣмъ не бывшаго.

Еслибы не знать навѣрное, онъ сказалъ бы, что уже былъ здѣсь однажды — такъ минутами начинало все это казаться знакомымъ и привычнымъ. И это было неприятно, такъ какъ слегка отчуждало его отъ себя и отъ своихъ и страшно приближало къ публичному дому съ его дикой, отвратительной жизнью.

Молчать становилось тяжело. Спросилъ:

— Отчего вы не пьете?

Она вздрогнула:

— Что?

— Вы бы выпили, Люба. Отчего вы не пьете?

— Одна я не хочу.

— Къ сожалѣнію, я не пью.

— А одна я не хочу.

— Я лучше грушу съѣмъ.

— Ъшьте. Для того и брали.

— А вы грушу не хотите?

Дѣвушка не отвѣтила и отвернулась. Но поймала на своихъ голыхъ и прозрачно розовыхъ плечахъ его взглядъ, и накинула на нихъ сѣрый вязаный платокъ.

— Холодно что то — сказала она отрывисто.

— Да, холодновато — согласился онъ, хотя въ маленькой комнаткѣ было жарко. И опять стояло долгое и напряженное молчаніе. Изъ зала донеслись громкіе, призывные звуки ригурнеля.

— Танцуютъ — сказалъ онъ.



— Танцуютъ — отвѣтила она . . .

— За что вы, Люба, такъ разсердились на меня . . . и ударили меня?

Дѣвушка помедлила и рѣзко отвѣтила:

— Такъ нужно было, вотъ и ударила. Не убила вѣдь, чего же спрашивать? — она нехорошо засмѣялась.

Дѣвушка сказала „такъ нужно“. Смотрѣла на него прямо своими черными окружившимися глазами, улыбалась блѣдно и рѣшительно и говорила: „такъ нужно“. И на подбородкѣ у нея была ямочка. Трудно было повѣрить, что это ея голова — вотъ эта злая, блѣдная голова — минуту назадъ лежала на его плечѣ. И ее онъ ласкалъ.

— Такъ вотъ какъ! — сказалъ онъ мрачно. Прощелся нѣсколько разъ по комнатѣ, на шагъ не доходя до дѣвушки, и когда сѣлъ на прежнее мѣсто — лицо у него было чужое, суровое и нѣсколько надменное. Молчалъ и смотрѣлъ, поднявъ брови, на потолокъ, на которомъ играло свѣтлое съ розовыми краями пятно. Что то ползло, маленькое и черное, должно быть ожившая отъ тепла запоздалая, осенняя муха. Проснулась она среди ночи и ничего навѣрно не понимаетъ и умретъ скоро. Вздохнулъ.

Дѣвушка громко разсмѣялась.

— Что васъ радуетъ? — холодно взглянулъ онъ и отвернулся.

— Да такъ. А вѣдь вы, дѣйствительно, похожи на писателя. Вы не обижаетесь? Онъ тоже сперва пожалѣетъ, а потомъ начинаетъ сердиться, отчего я не молюсь на него, какъ на икону. Такой обидчивый. Будь бы онъ Богомъ, ни одной лампадки бы не простилъ — она засмѣялась.

— А откуда вы знаете писателей? Вѣдь вы ничего не читаете.

— Бываетъ одинъ — коротко отвѣтила Люба.

Онъ задумался, устремивъ на дѣвушку неподвижный, тяжелый, какъ то слишкомъ спокойно, разглядывающій взоръ. Какъ человекъ, прошедшій жизнь въ мятежѣ, онъ и въ дѣвушкѣ смутно почувствовалъ бунтарскую душу, и это волновало его, и заставляло искать и догадываться: почему именно на него обрушился ея гнѣвъ? И то, что она имѣла дѣло съ писателями и, вѣроятно, разговаривала съ ними, и то, что она могла держать себя иногда такъ спокойно и съ достоинствомъ, и говорить такъ зло — невольно поднимало ее и ея удару придавало характеръ чего то значительно болѣе серьезнаго и важнаго, чѣмъ простая истерическая вспышка полупьяной и полуголой проститутки. И только разсерженный, но нисколько не оскорбленный вначалѣ, теперь, когда прошло уже столько времени, онъ вдругъ минутами начиналъ оскорбляться — и не только умомъ.

— За что вы ударили меня, Люба? Когда человекъ бьетъ по лицу, то должны сказать ему, за что? — повторилъ онъ прежній вопросъ хмуρο и настойчиво. Упрямство и твердость камня были въ его выдавшихся скулахъ, тяжеломъ лбу, давившемъ глаза.

— Не знаю — отвѣтила Люба такъ же упрямо, но избѣгая его взгляда.

Не хотѣла отвѣчать. Передернулъ плечами и снова съ упорствомъ принялся разглядывать дѣвушку и соображать. Его мысль въ обычное время была туга и медленна; но потревоженная однажды, она начинала работать съ силою и неуклонностью почти механическими, становилась чѣмъ то вродѣ гидравлическаго пресса, который, опускаясь медленно, дробить камни, выгибаетъ желѣзныя балки, давить людей, если они попадутъ подъ него — равнодушно, медленно и неотвратно. Не оглядываясь ни направо, ни налево, равнодушный къ софизмамъ, полуотвѣтамъ и намекамъ, онъ двигалъ свою мысль тяжело, даже жестоко — пока не распылится она или не дойдетъ до того крайняго, логическаго предѣла,

за которымъ пустота и тайна. Своей мысли отъ себя онъ не отдѣлялъ, мыслилъ какъ то весь, всѣмъ тѣломъ, и каждый логическій выводъ тотчасъ становился для него и дѣйственнымъ, — какъ это бываетъ только у очень здоровыхъ, непосредственныхъ людей, не сдѣлавшихъ еще изъ своей мысли игрушку.

И теперъ, взбудораженный, выбитый изъ колеи, похожій на большой паровозъ, который среди черной ночи сошелъ съ рельсовъ и продолжаетъ какимъ то чудомъ прыгать по кочкамъ и буграмъ — онъ искалъ дороги, во что бы то ни стало хотѣлъ найти ее. Но дѣвушка молчала и, видимо, вовсе не хотѣла разговаривать.

— Люба! давайте поговоримъ спокойно. Надо же . . .

— Я не хочу говорить спокойно.

Опять:

— Слушайте, Люба. Вы меня ударили, и такъ я этого не оставлю.

Дѣвушка усмѣхнулась.

— Да? Что же вы со мной сдѣлаете? Къ мировому пойдете?

— Нѣтъ. Но я буду ходить къ вамъ, пока вы мнѣ не объясните.

— Милости просимъ! Хозянкѣ доходъ.

— Приду завтра. Приду . . .

И вдругъ, почти одновременно съ мыслью, что ни завтра, ни послѣзавтра ему придти нельзя — явилась догадка, даже увѣренность, почему дѣвушка поступила такъ. Онъ даже повеселѣлъ.

— Ахъ, такъ вотъ какъ! Это вы за то ударили меня, что я пожалѣлъ васъ, оскорбилъ своею жалостью? Да, глупо вышло. Правда, я этого не хотѣлъ, но, быть можетъ, это дѣйствительно оскорбляетъ. Конечно, разъ вы такой же человекъ, какъ и я . . .

— Такой же? — она усмѣхнулась.

— Ну, будетъ. Давайте руку, помиримся.

Люба опять слегка поблѣднѣла.

— Вы хотите, чтобы я опять вамъ по рожѣ дала?

— Да вѣдь руку, по товарищески! По товарищески!

— искренно даже басомъ почему то воскликнулъ онъ.

Но Люба встала и, уже отойдя нѣсколько, произнесла:

— Знаете что . . . Либо вы — дуракъ, либо васъ дѣйствительно мало били!

Потомъ взглянула на него и громко расхохоталась:

— Ну, ей Богу же, мой писатель! Совершеннѣйшій писатель! Да какъ же васъ не бить, голубчикъ вы мой!

Повидимому, слово писатель было для нея браннымъ и вкладывала она въ него свой особенный, опредѣленный смыслъ. И уже съ совершеннымъ, съ полнымъ презрѣніемъ, не считаясь съ нимъ, какъ съ вещью, какъ съ безнадежнымъ идиотомъ или пьянымъ, свободно прошла по комнатѣ и кинула вскользь:

— А что я тебя больно ударила? Чего ты хнычешь все?

Онъ не отвѣтилъ.

— Писатель мой говорить, что я больно дерусь. Но можетъ у него лицо поблагороднѣе, а по твоей мужицкой харѣ сколько ни хлопай, не почувствуешь? Ахъ, много народу я по мордѣ била, а никого мнѣ такъ не жалко, какъ писательчика моего. Бей, говорить, бей, такъ мнѣ и надо. Пьяный, слюнявый, бить то даже противно. Такая сволочь. А объ твою рожу я даже руку ушибла. На — цѣлуй ушибленное.

Она ткнула руку къ его губамъ и снова быстро заходила. Возбужденіе ея росло, и казалось минутами, будто она задыхается въ чемъ то горячемъ: потирала себѣ грудь, дышала широко открытымъ ртомъ и безсознательно хваталась за оконныя драпри. И уже два раза на ходу налила и выпила коньяку. Во второй разъ онъ замѣтилъ ей угрюмо вопросительно:

— Вы же не хотѣли пить одна?

— Характеру нѣтъ, голубчикъ! — отвѣтила она просто. — Да и отравлена я, — не попью нѣкоторое время, удушье дѣлается. Отъ этого и подохну.

И вдругъ, точно теперь только замѣтивъ его, удивленно вскинула глаза и захохотала.

— А, это ты! Тутъ еще, не ушелъ. Посиди, посиди! — съ дикимъ выраженіемъ глазъ она сдернула вязаный платокъ и снова зарозовѣли ея плечи и тонкія, нѣжныя руки.

— И чего то я закуталась? Тутъ и такъ жарко, а я . . . Это я его берегла, какъ же нужно . . . Послушайте, вы бы сняли штаны. Тутъ таковскіе, тутъ можно безъ штановъ. Можетъ быть, у васъ грязные кальсоны, такъ я вамъ дамъ свои. Ничего, что съ развѣсомъ? Послушайте, надѣньте! Ну, миленькій, ну, голубчикъ, ну, что вамъ стоитъ . . .

Она хохотала и, захлебываясь отъ хохота, просила его, протягивала руки. Потомъ быстро соскользнула на полъ, встала на колѣни и, ловя его руки, умоляла:

— Ну, голубчикъ, ну, миленькій, я вамъ ручки расцѣлю! . . .

Онъ отодвинулся и съ угрюмой тоскою сказалъ:

— За что вы меня, Люба? Что я вамъ сдѣлалъ? Я такъ хорошо къ вамъ отношусь . . . За что вы меня, за что? Развѣ я обидѣлъ васъ? Ну, если обидѣлъ, простите. Вѣдь я совсѣмъ въ этомъ, во всѣхъ этихъ дѣлахъ . . . несвѣдуць.

Передернувъ презрительно голыми плечами, Люба гибко поднялась съ колѣнъ и сѣла. Дышала она трудно.

— Значить, не надѣнете? А жалко, я бы посмотрѣла.

Онъ началъ говорить что то, запнулся и продолжалъ нерѣшительно, растягивая слова:

— Послушайте, Люба . . . Конечно, я . . . все это пустяки. И если вы уже такъ хотите, то . . . можно потушить огонь. Потушите огонь, Люба.

— Что? — удивилась дѣвушка и широко открыла глаза.

— Я хочу сказать — заторопился онъ — что вы женщина, и я! . . . Конечно, я былъ неправъ . . . Вы не думайте, что это жалость, Люба, нѣтъ, вовсе нѣтъ . . . Я и самъ . . . потушите огонь, Люба.

Смущенно улыбнувшись, онъ протянулъ къ ней руки съ неуклюжей ласковостью человѣка, который никогда не имѣлъ дѣла съ женщинами. И увидѣлъ: сцѣпивъ напряженно пальцы, она поднесла ихъ къ подбородку и точно вся превратилась въ одно огромное, задержанное въ поднятой груди дыханіе. И глаза у нея стали огромные, и смотрѣли они съ ужасомъ, съ тоской, съ невыносимымъ презрѣніемъ. :

— Что вы, Люба? — отшатнулся онъ. И съ холоднымъ ужасомъ, почти тихо она произнесла, не разжимая пальцевъ:

— Ахъ негодяй! Боже мой, какой же ты негодяй!

И багрово красный отъ стыда, отвергнутый, оскорбленный тѣмъ, что самъ оскорбилъ, онъ топнулъ ногою и бросилъ въ широко открытые глаза, въ ихъ безбрежный ужасъ и тоску, короткія грубыя слова.

— Проститутка! Дрянь! Молчи!

Но она тихо качала головою и повторяла:

— Боже мой! Боже мой, какой же ты негодяй!

— Молчи, дрянь! Ты пьяна. Ты съ ума сошла. Ты думаешь, мнѣ нужно твое поганое тѣло. Ты думаешь, для такой я себя берегъ, какъ ты. Дрянь, бить тебя надо! — онъ размахнулся рукою, чтобы дать пощечину, но не ударилъ.

— Боже мой! Боже мой!

— И ихъ еще жалѣютъ! Истреблять ихъ надо, эту мерзость, эту мерзость. И тѣхъ, кто съ вами, всю эту сволочь . . . И это обо мнѣ, обо мнѣ ты смѣла подумать! — онъ крѣпко сжалъ ея руки и бросилъ ее на стулъ.

— Хорошій! Да? Хорошій? — хохотала она въ восторгѣ, будто обрадовалась безмѣрно.

— Да, хорошій! Честный всю жизнь! Чистый! А ты. А кто ты, дрянь, звѣрюка несчастная?

— Хорошій! — упивалась она восторгомъ.

— Да, хорошій. Послѣзавтра я пойду на смерть, для людей, а ты — а ты? Ты съ палачами моими спать будешь. Зови сюда твоихъ офицеровъ. Я брошу имъ тебя подъ ноги: берите вашу падаль. Зови!

Люба медленно встала. И когда онъ, бурно взволнованный, гордый, съ широко раздувающимися ноздрями взглянулъ на нее — то встрѣтилъ такой же гордый и еще болѣе презрительный взглядъ. Даже жалость какъ будто свѣтилась въ надменныхъ глазахъ проститутки, вдругъ чудомъ поднявшейся на ступень невидимаго престола и оттуда съ холодомъ и строгимъ вниманіемъ разглядывавшей у ногъ своихъ что то маленькое, крикливое и жалкое. Уже не смѣялась она, и волненія не было замѣтно, и глазъ невольно искалъ ступенекъ, на которыхъ стоитъ она — такъ сверху внизъ умѣла глядѣть эта женщина.

— Ты что? — спросилъ онъ, не отступая, все еще яростный, но уже поддающийся вліянію спокойнаго, надменнаго взгляда.

И строго, съ зловѣщей убѣдительностью, за которой чувствовались милліоны раздавленныхъ жизней, и моря горькихъ слезъ, и огненный непрерывный бунтъ возмущенной справедливости — она спросила.

— Какое же ты имѣешь право быть хорошимъ, когда я — плохая?

— Что? — не понялъ онъ сразу, вдругъ ужаснувшись пропасти, которая у самыхъ ногъ его раскрыла свой черный зѣвъ.

— Я давно тебя ждала.

— Ты меня ждала?

— Да. Хорошаго ждала. Пять лѣтъ ждала, можетъ, больше. Всѣ они, какіе приходили, жаловались, что подлецы они. Да подлецы они и есть. Мой писатель говорилъ сперва, что хорошій, а потомъ сознался, что тоже подлець. Такихъ мнѣ не нужно.

— Чего же тебѣ нужно?

— Тебя мнѣ нужно, миленькій. Тебя. Да, какъ разъ такой! — она внимательно и спокойно оглядѣла его съ ногъ до головы и утвердительно кивнула блѣдной головой. — Да. Спасибо, что пришелъ.

Ему, ничего не боявшемуся, вдругъ стало страшно.

— Чего же тебѣ надо? — повторилъ онъ, отступая.

— Надо было хорошаго ударить, миленькій, настоящаго хорошаго. А тѣхъ слюнтяевъ и бить не стоитъ, руки только марать. Ну, вотъ и ударила, можно теперь и ручку себѣ поцѣловать. Милая ручка, хорошаго ударила!

Она засмѣялась и, дѣйствительно, погладила и трижды поцѣловала свою правую руку. Онъ дико смотрѣлъ на нее, и мысли его, такія медленныя, теперь бѣжали съ отчаянной быстротой; и уже приближалось, словно черная туча, то ужасное и непоправимое, какъ смерть.

— Ты что сказала . . . Что ты сказала?

— Я сказала: стыдно быть хорошимъ. А ты этого не зналъ?

— Не зналъ, — пробормоталъ онъ, вдругъ глубоко задумавшись и даже какъ будто забывши про нее. Сѣлъ.

— Ну вотъ, узнай.

Говорила она спокойно, и только потому, какъ ходила подъ рубашкой грудь, замѣтно было глубокое волненіе, сдушенный тысячеголосый крикъ.

— Ну, узналъ?

— Что? — очнулся онъ.

— Узналъ, говорю?

— Погоди!



— Погожу, миленькій. Пять лѣтъ ждала, а теперь пять минутокъ да не погодить!

Она опустила на стулъ и, точно въ предчувствіи какой то необыкновенной радости, заломила голыя руки и закрыла глаза:

— Ахъ, миленькій, миленькій ты' мой! . .

— Ты сказала: стыдно быть хорошимъ?

— Да, миленькій, стыдно.

— Такъ вѣдь это . . . . . — онъ въ страхѣ остановился.

— То-то и есть. Испугался? Ничего, ничего. Это сначала только страшно.

— А потомъ?

— Вотъ останешься со мною и узнаешь, что потомъ. Онъ не понялъ.

— Какъ останусь?

Удивилась въ свою очередь дѣвушка:

— Да развѣ теперь, послѣ этого, тебѣ можно куда-нибудь идти? Смотри, миленькій, не обманывай. Вѣдь не подлецъ же и ты, какъ другіе. А хорошій — такъ останешься, никуда не пойдешь. Не даромъ же я тебя ждала.

— Ты съ ума сошла! — сказалъ онъ рѣзко.

Она строго поглядѣла на него, она даже погрозила пальцемъ.

— Не хорошо. Не говори такъ. Разъ пришла къ тебѣ правда, поклонись ей низко, а не говори: ты съ ума сошла. Это мой писатель говорить: съ ума сошла! Такъ на то онъ и подлецъ. А ты будь честный.

— А вдругъ не останусь? — мрачно усмѣхнулся онъ поблѣвшими, искривленными губами.

— Останешься! — сказала она съ увѣренностью. — Куда тебѣ идти теперь? Тебѣ некуда идти. Ты честный. Это я еще тогда поняла, какъ ты мнѣ руку поцѣловалъ. Дуракъ, думаю, а честный. Ты не обижаешься, что я дуракомъ тебя сочла? Да ты самъ виноватъ. Зачѣмъ

ты невинность свою мнѣ предлагалъ? Думалъ: дамъ ей невинность мою, она и отступится. Ахъ, дурачекъ, дурачекъ! Сперва я даже обидѣлась: что же это, думаю, даже за человѣка не считаетъ, а потомъ вижу, что и это тоже отъ хорошесть отъ твоей. И такъ ты рассчитывалъ: отдамъ ей невинность, и оттого, что отдалъ, стану я еще невиннѣе, и получится у меня вродѣ какъ бы неразмѣнный рубль. Я его нищему, а онъ ко мнѣ назадъ. Я его нищему, а онъ ко мнѣ назадъ. Нѣтъ, миленькій, этотъ номеръ не пройдетъ.

— Не пройдетъ?

— Нѣ-ѣ-тъ, миленькій, — протянула она, — не на дуру попалъ. Я купцовъ то этихъ достаточно насмотрѣлась: награбить миллионы, а потомъ дать цѣлковый на церковь, да и думаетъ, что правъ. Нѣтъ, миленькій, ты мнѣ всю церковь построй. Ты мнѣ самое дорогое дай, что у тебя есть, а то невинность! Можетъ и невинность то только потому и отдаешь, что самому не нужна стала, заплѣсневлa. Невѣста у тебя есть?

— Нѣтъ.

— А будь невѣста и жди она тебя завтра съ цвѣтами, да съ поцѣлуйами, да съ любовью — отдалъ бы невинность или нѣтъ?

— Не знаю, — сказалъ онъ задумчиво.

— Вотъ то-то и есть. Сказалъ бы: лучше жизнь мою возьми, а честь мою оставь! Что подешевле, то и отдаешь. Нѣтъ, ты мнѣ самое дорогое отдай, такое, безъ чего самъ не можешь жить, вотъ!

— Да зачѣмъ я отдамъ? Зачѣмъ?

— Какъ зачѣмъ? Да все за тѣмъ же, чтобы стыдно не было.

— Люба! — воскликнулъ онъ въ удивленіи, — послушай, да вѣдь ты сама . . .

— Хорошая, хочешь сказать? Слыхала и это. Отъ писательчика моего не разъ слыхала. Только это, ми-

ленькій, неправда. Самая я настоящая дѣвка. Вотъ останешься, узнаешь.

— Да не останусь же я! — крикнулъ онъ сквозь зубы.

— Не кричи, миленькій. Крикомъ противъ правды ничего не сдѣлаешь. Правда, какъ смерть — придетъ, такъ принимай, какая ни на есть. Съ правдой тяжело, миленькій, встрѣтиться, по себѣ знаю! — и шепотомъ, глядя ему прямо въ глаза — добавила: — Богъ то въдь то, же хорошій!

— Ну?

— Больше ничего . . . Самъ понимай, а я ничего говорить не стану. Только вотъ уже пять лѣтъ, какъ я въ церкви не была. Вотъ она, правда то!

Правда — какая правда? Что это еще за новый, неизвѣданный ужасъ, котораго не зналъ онъ ни передъ лицомъ смерти, ни передъ лицомъ самой жизни. Правда!

Скуластый, крѣпкоголовый, знающій только да и нѣтъ, онъ сидѣлъ, опершись головою о руки и медленно переводилъ глаза, будто съ одного края жизни до другого края ея. И распадалась жизнь, какъ плохо склеенный запертый ящичекъ, попавшій подъ осенній дождь, и въ жалкихъ обломкахъ ея нельзя было узнать недавно прекраснаго цѣлаго, чистаго хранилища души его. Онъ вспоминалъ милыхъ, родныхъ людей, съ которыми онъ жилъ всю жизнь и работалъ въ дивномъ единеніи радости и горя — и они казались чужими, и жизнь ихъ непонятной и работа ихъ бессмысленной. Точно вдругъ взялъ кто то его душу мощными руками, и переломилъ ее, какъ палку о жесткое колѣно, и далеко разбросилъ концы. Только нѣсколько часовъ онъ здѣсь, только нѣсколько часовъ онъ оттуда — а кажется будто всю жизнь онъ здѣсь, противъ этой полуголой женщины, слушаетъ далекую музыку и треньканье шпоръ, и не уходилъ никуда. И не знаетъ, вверху онъ или внизу — знаетъ только, что онъ противъ, мучительно противъ

всего того, что только что, еще сегодня днемъ, составляло его жизнь и его душу. Стыдно быть хорошимъ . . .

Вспомнилъ книги, по которымъ учился жить и улыбнулся горько. Книги! Вотъ она книга — сидитъ съ голыми руками, съ закрытыми глазами, съ выраженіемъ блаженства на блѣдномъ, измученномъ лицѣ и ждетъ терпѣливо. Стыдно быть хорошимъ . . . И вдругъ съ тоскою, съ ужасомъ, съ невыносимой болью онъ почувствовалъ, что та жизнь кончена для него навсегда, — что уже не можетъ онъ быть хорошимъ. Только этимъ и жилъ, что хорошій, только этому и радовался, только это и противопоставлялъ и жизни и смерти — и этого нѣтъ, и нѣтъ ничего. Тьма. И останется ли онъ здѣсь, и вернется ли онъ назадъ, къ своимъ — у него уже нѣтъ своихъ. Зачѣмъ пришелъ онъ въ этотъ проклятый домъ! Остался бы лучше на улицѣ, отлался бы въ руки сыщикамъ, пошелъ бы въ тюрьму — что такое тюрьма, въ которой еще можно, еще не стыдно быть хорошимъ! А теперь — и въ тюрьму поздно.

— Ты плачешь? — спросила дѣвушка безпокойно.

— Нѣтъ! — отвѣтилъ онъ рѣзко. — Я никогда не плачу.

— И не надо, миленькій. Это мы, женщины, можемъ плакать, а вамъ нельзя. Если и вы заплачете, кто же тогда отвѣтитъ Богу?

Да, своя, и вотъ эта — своя.

— Люба! — воскликнулъ онъ съ тоскою. — Что же дѣлать! Что же дѣлать!

— Оставайся со мною. Со мною оставайся — ты вѣдь мой теперь.

— А они?

Дѣвушка нахмурилась:

— Какіе еще они?

— Да люди, люди же! — воскликнулъ онъ въ бѣшенствѣ. — Люди, для которыхъ работалъ! Вѣдь не для себя же въ самомъ дѣлѣ, не для собственнаго утѣшенія несъ я все это — къ убійству готовился!

— Ты мнѣ о людяхъ не говори! — строго сказала дѣвушка и губы ея задрожали. — Ты мнѣ лучше о людяхъ не говори — опять драться буду! Слышишь!

— Да что ты? — удивился онъ.

— Что я — собака? И всѣ мы — собаки? Миленкѣй, поостерегись! Попрятался за людей, и будетъ. Не прячься отъ правды, миленкѣй, отъ нея никуда не спрячешься! А если любишь людей, жалѣешь нашу горькую братію — такъ вотъ, бери меня. А я, миленкѣй мой — тебя возьму!

## V.

Сидѣла заломивъ руки, вся въ блаженной истомѣ, вся счастливая безумно — будто помѣшанная. Покачивала головою и, не открывая блаженно грезящихъ глазъ, говорила медленно, почти пѣла:

— Миленкѣй мой! Пить съ тобою будемъ. Плакать съ тобою будемъ — охъ какъ сладко плакать будемъ, миленкѣй ты мой. За всю жизнь наплачуся! Остался со мною, не ушелъ. Какъ увидѣла тебя сегодня, въ зеркалѣ, такъ сразу и метнулося: вотъ онъ, мой суженый, вотъ онъ, мой миленкѣй. И не знаю я, кто ты, братъ ли ты мой, или женихъ, а весь родной, весь близкѣй, весь желанненькѣй . . .

Вспомнилъ и онъ эту черную, нѣмую, траурную пару въ золотой рамѣ зеркала, и свое тогдашнее ощущение: какъ на похоронахъ — и вдругъ стало такъ невыносимо больно, такимъ дикимъ кошмаромъ показалось все, что онъ, въ тоскѣ, даже скрипнулъ зубами. И идя мыслью дальше, назадъ, вспомнилъ милый револьверъ въ карманѣ — двухдневную погоню — плоскую дверь безъ ручки, и какъ онъ искалъ звонка, и какъ вышелъ опухшій лакей, еще не успѣвшій натянуть фрака, въ одной ситцевой грязной рубашкѣ, и какъ онъ вошелъ съ хозяйкой въ бѣлый залъ, и увидѣлъ этихъ трехъ, чужихъ.

И все свободнѣе ему становилось — и наконецъ ясно стало, что онъ такой же, какъ и былъ, и совершенно свободенъ, совершенно свободенъ и можетъ идти, куда хочетъ.

Онъ строго обвелъ глазами незнакомую комнату и сурово, съ убѣжденностью человѣка, который очнулся на мигъ отъ тяжелаго хмѣля и видитъ себя въ чуждой обстановкѣ, осудилъ все увидѣнное:

— Что это! Какая бессмыслица! Какой нелѣпый сонъ!

— — — — —

Но музыка играла. Но женщина сидѣла, заломивъ руки, смѣялась безсильная говорить, изнемогающая подъ бременемъ безумнаго, невиданнаго счастья. Но это не былъ сонъ.

— — — — —

— Что же это? Такъ это — правда?

— Правда, миленькій! Неразлучные мы съ тобою.

Это — правда. Правда — вотъ эти плоскія, мятые юбки, висящія на стѣнѣ въ своемъ голомъ безобразіи. Правда — вотъ эта кровать, на которой тысячи пьяныхъ мужчинъ бились въ корчахъ гнуснаго сладострастья. Правда — вотъ эта душистая, старая, влажная вонь, которая липнетъ къ лицу и отъ которой противно жить. Правда — эта музыка и шпоры. Правда — она, эта женщина съ блѣднымъ, измученнымъ лицомъ и жалко счастливою улыбкою.

Опять положилъ на руки тяжелую голову, смотрѣлъ исподлобья взглядомъ волка, котораго не то убиваютъ, не то онъ самъ хочетъ убить, и думалъ безсвязно:

Такъ вотъ она правда . . . Это значить: и завтра, и послѣзавтра не пойду, и всѣ узнаютъ, почему я не пошелъ, остался съ дѣвкою, запилъ, и назовутъ меня предателемъ, трусомъ, негодяемъ. Нѣкоторые заступятся, будутъ догадываться . . . нѣтъ, лучше не надѣяться на это, лучше такъ. Кончено, такъ кончено.

Въ темноту, такъ въ темноту. А что дальше? Не знаю, темно. Вѣроятно, ужасъ какой-нибудь — вѣдь я еще не умѣю по ихнему. Какъ странно: нужно учиться быть плохимъ. У кого же? У нея? . . Нѣтъ, она не годится, она сама ничего не знаетъ, ну, да я сѣумѣю. Плохимъ нужно быть по настоящему, такъ, чтобы . . . Охъ, что то большое я разрушу! А потомъ? А потомъ, когда-нибудь, приду къ ней, или въ кабакъ, или на ка-торгу, и скажу: теперъ мнѣ не стыдно, теперъ я ни въ чемъ не виноватъ передъ вами, теперъ я самъ такой же, какъ вы, грязный, падшій, несчастный. Или выйду на площадь, падшій, и скажу: смотрите, какой я! Все у меня было: и умъ, и честь, и достоинство, и даже — страшно подумать — безсмертіе; и все это я бросилъ подъ ноги проституткѣ, отъ всего отказался только потому, что она плохая. Что они скажутъ? Разинуть рта, удивятся, скажутъ — „дуракъ“! Конечно, дуракъ. Развѣ я виноватъ, что я хорошій? Пусть и она, пусть и всѣ стараются быть хорошими . . . Раздай имѣніе немущимъ. Но вѣдь это имѣніе и это Христось, въ котораго я не вѣрю. Или еще: кто душу свою положить — не жизнь, а душу, вотъ, какъ я хочу. Но развѣ самъ Христось грѣшилъ съ грѣшниками, прелюбодѣйствовалъ, пьянствовалъ? Нѣтъ, Онъ только прощалъ ихъ, ласбилъ даже. Ну, и я ее люблю, прощаю, жалѣю — зачѣмъ же самому? Да, но вѣдь она въ церковь не ходитъ. И я тоже. Это не Христось, это другое, это страшнѣе. Это дьяволь!

— Страшно, Люба!

— Страшно, миленькій. Страшно человѣку встрѣтиться съ правдой.

Она опять о правдѣ. Но отчего страшно? Чего я боюсь? Чего я могу бояться — когда я такъ хочу? Конечно, бояться нечего. Развѣ тамъ на площади, передъ этими разинутыми ртами, я не буду выше ихъ всѣхъ? Голый, грязный, оборванный — у меня тогда будетъ

ужасное лицо — самъ отдавшій все — развѣ я не буду грознымъ глашатаемъ вѣчной справедливости, которой долженъ подчиниться и самъ Богъ — иначе онъ не Богъ!

— Нѣтъ страшнаго, Люба!

— Нѣтъ, миленькій, есть. Не боишься, и хорошо, но его не зови. Не надо.

Такъ вотъ какъ я кончилъ. Не этого я ожидалъ. Не этого я ожидалъ для моей молодой, красивой жизни. Боже мой, но вѣдь это безуміе, я съума сошелъ! Еще не поздно. Еще можно уйти!

— Миленькій ты мой! — бормотала женщина, заломивъ руки.

Онъ хмуρο взглянулъ на нее. Въ блаженно закрытыхъ глазахъ ея, въ блуждающей, счастливой, бессмысленной улыбкѣ была неутолимая жажда, ненасытимый голодь. Точно уже сожрала она что то огромное и сожреть еще. Взглянулъ хмуρο на тонкія, нѣжныя руки, на темныя впадины въ подмышкахъ и неторопливо всталъ. И съ послѣднимъ усиліемъ спасти что то драгоценное — жизнь, или разсудокъ, или старую добрую правду — неторопливо и серьезно началъ одѣваться. Не можетъ найти галстухъ.

— Послушай, ты не видала моего галстуха?

— Ты куда? — оглянулась женщина. Руки ея упали съ головы, и вся она потянулась впередъ, къ нему.

— Ухожу.

— Уходишь? — протяжно повторила она. — Уходишь? Куда?

Усмѣхнулся угрумо.

— Развѣ мнѣ некуда идти. Къ товарищамъ иду.

— Къ хорошимъ? Ты обманулъ меня?

— Да, къ хорошимъ — опять усмѣхнулся. Наконецъ одѣлся; провелъ ладонями по бокамъ:

— Давай бумажникъ.

Подала.

— А часы?



Подала. Они лежали тутъ же, на столикъ.

— Прощай.

— Испугался?

Вопросъ былъ спокойный, простой. Онъ взглянулъ: стояла высокая, стройная женщина, съ тонкими, почти дѣтскими руками, улыбалась блѣдно побѣлѣвшими губами и спрашивала:

— Испугался?

Какъ она мѣнялась странно: то сильная, даже страшная, то вотъ, какъ теперь, печальная, и больше на дѣвушку похожа, чѣмъ на женщину. Но это вѣдь все равно. Сдѣлалъ шагъ къ двери.

— А я думала, что ты останешься.

— Что?

— А я думала, что останешься. Со мною.

— Зачѣмъ?

— Ключъ у тебя, въ карманѣ. Да такъ: чтобы мнѣ лучше было.

Уже шелкнулъ замокъ.

— Ну, что же. Ступай. Ступай къ своимъ хорошимъ, а я . . .

. . . И вотъ тогда, въ эту послѣднюю минуту, когда оставалось только открыть дверь и за нею вновь найти товарищей, прекрасную жизнь и героическую смерть — онъ совершилъ дикій, непонятный поступокъ, погубившій его жизнь. Было ли то безуміе, которое овладѣваетъ иногда такъ внезапно самыми сильными и спокойными умами, или дѣйствительно — подъ визгъ пьяной скрипки, въ стѣнахъ публичнаго дома, подъ дикими чарами подведенныхъ глазъ проститутки — онъ открылъ какую то послѣднюю, ужасную правду жизни, свою правду, которой не могли и не могутъ понять другіе люди. Но было ли безуміемъ или здоровьемъ ума, было ли ложью или правдой новое пониманіе его — онъ принялъ его твердо и безповоротно, съ тою безусловностью факта, которая всю прежнюю жизнь его вытя-

нула въ одну прямую, огненную линію, оперило ее, какъ стрѣлу.

Провель медленно, очень медленно рукою по щетинистому твердому черепу и, даже не закрывъ двери — просто пошелъ и сѣлъ на старое мѣсто на кровати. Широкоскулый, блѣдный, похожій съ виду на иностранца, на англичанина.

— Что ты? Забылъ что-нибудь? — удивилась женщина: такъ теперь не ожидала она того, что случилось.

— Нѣтъ.

— Что же ты? Почему ты не уходишь?

И спокойно, съ выраженіемъ камня, на которомъ жизнь тяжелой рукою своею высѣкла новую страшную, послѣднюю заповѣдь, онъ сказалъ:

— Я не хочу быть хорошимъ.

Она ждала, не смѣя вѣрить — вдругъ ужаснувшаяся тому, чего искала и жаждала такъ долго. Стала на колѣни. И слегка улыбнувшись, уже по новому, по страшному возвышаясь надъ ней, онъ положилъ руку ей на голову и повторилъ:

— Я не хочу быть хорошимъ.

И радостно засуетилась женщина. Она раздѣвала его, какъ ребенка, разшнуровывала ботинки, путаясь въ узлахъ, гладила его по головѣ, по колѣнямъ, и не смѣялась даже — такъ полно было ея сердце. Вдругъ взглянула на его лицо и испугалась:

— Какой ты блѣдный! Пей, пей скорѣе. Тебѣ трудно, Петечка?

— Меня зовутъ Алексѣй.

— Все равно. Хочешь, я налью тебѣ въ стаканъ? Только смотри не обожгись, съ непривычки трудно изъ стакана.

И раскрывъ ротъ, смотрѣла, пока онъ пилъ медленными, слегка неуверенными глотками. Закашлялся.

— Это ничего, ничего. Ты хорошо будешь пить, это сразу видно. Молодецъ же ты у меня! До чего же я рада!

Завязжавъ, она вспрыгнула на него и стала душить короткими, крѣпкими поцѣлуями, на которыя онъ не успѣвалъ отвѣчать. Смѣшно: чужая, а такъ цѣлуетъ! Крѣпко сжалъ ее руками, вдругъ лишивъ ее возможности двигаться, и нѣкоторое время молча, самъ не двигаясь, держалъ такъ, точно испытывалъ силу покоя, силу женщины — силу свою. И женщина покорно и радостно нѣмѣла въ его рукахъ.

— Ну, ладно! — сказалъ и вздохнулъ незамѣтно.

И вновь металась женщина, горя въ дикой радости своей, какъ въ огнѣ. И такъ наполнила своими движениями комнатку, какъ будто не одна, а нѣсколько такихъ полубезумныхъ женщинъ говорило, двигалось, ходило, цѣловало. Поила его коньякомъ и пила сама. Вдругъ спохватилась и даже всплеснула руками.

— А револьверъ! А револьверъ то мы и забыли! Давай, давай скорѣе, нужно его отнести въ контору.

— Зачѣмъ?

— Ну его, боюсь я этихъ вещей. А вдругъ выстрѣлить?

Онъ усмѣхнулся и повторилъ:

— А вдругъ выстрѣлить? Да. А вдругъ выстрѣлить!

Вынулъ револьверъ и нѣсколько медленно, точно мѣряя рукою тяжесть спокойнаго, послушнаго оружія, передалъ его дѣвушкѣ. Досталъ и обоймы.

— Неси.

И когда остался одинъ, безъ револьвера, который носилъ столько лѣтъ, съ полуоткрытой дверью, въ которую неслись издали чужіе незнакомые голоса и тихое позвякиваніе шпоръ — почувствовалъ онъ всю громаду бремени, которое взвалилъ на плечи свои. Тихо прошелся по комнатѣ и, обратясь лицомъ въ сторону, гдѣ должны были находиться тѣ, произнесъ:

— Ну?

И застылъ, сложивъ руки на груди, обративъ глаза въ сторону, гдѣ должны были находиться тѣ. И было въ этомъ коротенькомъ словѣ много: и послѣднее прощаніе, и глухой вызовъ, и безповоротная, злая рѣшимость бороться со всѣми, даже со своими, и немного, совсѣмъ немного тихой жалобы.

Все такъ же стоялъ онъ, когда прибѣжала Люба и съ порога взволнованно заговорила:

— Миленькій, ты не разсердишься? Не сердись: я подругъ сюда позвала. Такъ, нѣкоторыхъ. Ничего? Принимаешь! Очень мнѣ захотѣлось имъ тебя показать, суженаго моего, миленькаго моего. Ничего? Онѣ славныя, ихъ нынче никто не взялъ, и онѣ однѣ тамъ. А офицеры по комнатамъ разошлись. А одинъ офицерикъ видѣлъ твой револьверъ и похвалилъ: очень хорошій, говорить. Ничего? Миленькій, ничего? — душила его дѣвушка короткими, быстрыми, крѣпкими поцѣлуями.

А тѣ уже входили, повизгивая, жеманясь, и чинно садились рядкомъ, одна возлѣ другой. Ихъ было пять или шесть самыхъ некрасивыхъ или старыхъ, накрашенныхъ, съ подведенными глазами, съ волосами, навѣсомъ начесанными на лобъ. Нѣкоторыя дѣлали видъ, что стыдятся и хихикали, другія спокойно и просто ожидали коньяку и глядѣли на него серьезно, протягивали руку и здоровались входя. Повидимому, онѣ уже ложились спать, потому что всѣ были въ легкихъ капотахъ, а одна, чрезвычайно толстая, лѣнивая и равнодушная, пришла даже въ одной юбкѣ, съ голыми, невѣроятно толстыми руками и жирною, словно распухшею грудью. Эта толстая и еще одна съ злымъ птичьимъ старымъ лицомъ, на которомъ бѣлила лежали, какъ грязная штукатурка на стѣнѣ, были совершенно пьяны, остальные же сильно на веселѣ. И все это полуголое, откровенное, хихикающее окружило его, и сразу нестерпимо запахло тѣломъ, портеромъ, все тѣми же влажными, мыльными духами. Прибѣжалъ съ коньякомъ и портеромъ потный



лакей въ обтянутомъ, кургузомъ фракѣ, и всѣ дѣвицы хоромъ встрѣтили его:

— Маркуша! Милый Маркуша! Маркуша!

Повидимому, это было въ обычаѣ — встрѣчать его такими возгласами, потому что даже и толстая, пьяная, лѣниво прогудѣла:

— Маркуша!

И все это было необыкновенно. Пили, чокались, говорили всѣ сразу и о чемъ то своемъ. Злая, съ птичьимъ лицомъ, раздраженно и крикливо рассказывала о гостѣ, который бралъ ее на время и съ которымъ у нея что то вышло. Часто ввертывали уличныя ругательства, но произносили ихъ не равнодушно, какъ мужчины, а всегда съ особенной ѣдкостью, съ нѣкоторымъ вызовомъ; всѣ вещи называли своимъ именемъ.

На него вначалѣ обращали вниманія мало, да и самъ онъ упорно молчалъ и выглядывалъ. Счастливая Люба сидѣла очень тихо рядомъ съ нимъ на постели, обнимая его рукою за шею, сама пила немного, но ему постоянно подливала. И часто въ самое ухо шептала:

— Миленькій!

Пилъ онъ много, но не хмѣлѣлъ, а что то другое происходило въ немъ, что производитъ нерѣдко въ людяхъ таинственный и сильный алкоголь. Будто — пока онъ пилъ и молчалъ — внутри его происходила огромная, разрушительная работа, быстрая и глухая. Какъ будто все, что онъ узналъ въ теченіе жизни, полюбилъ и передумалъ, разговоры съ товарищами, книги, опасная и завлекательная работа — безшумно сгорало, уничтожалось безслѣдно, но самъ онъ отъ этого не разрушался, а какъ то странно крѣпъ и твердѣлъ. Словно съ каждой выпитой рюмкой онъ возвращался къ какому то первоначально своему — къ дѣду, къ прадѣду, къ тѣмъ стихійнымъ, первобытнымъ бунтарямъ, для которыхъ бунтъ былъ религіей и религія — бунтомъ. Какъ линючая краска подъ горячей водой — смывалась и

блекла книжная чуждая мудрость, а на мѣсто ея вставало свое, собственное, дикое и темное, какъ голосъ самой черной земли. И дикимъ просторомъ, безграничностью дремучихъ лѣсовъ, безбрежностью полей вѣяло отъ этой послѣдней темной мудрости его; въ ней слышался смятенный крикъ колоколовъ, въ ней видѣлось кровавое зарево пожаровъ; и звонъ желѣзныхъ кандаловъ, и изступленная молитва, и сатанинскій хохоть тысячъ исполинскихъ глотокъ, и черный куполь неба надъ непокрытой головою.

Такъ сидѣлъ онъ, широкоскулый, блѣдный, вдругъ такой родной, такой близкій всѣмъ этимъ несчастнымъ, галѣвшимъ вокругъ него. И въ опустошенной, выжженной душѣ и въ разрушенномъ мѣрѣ бѣлымъ огнемъ расплавленной стали сверкала и свѣтилась ярко одна его раскаленная воля. Еще слѣпая, еще безцѣльная, она уже выгибалась жадно; и въ чувствѣ безграничнаго могущества, способности все создать и все разрушить, спокойно желѣзнѣло его тѣло.

Вдругъ онъ стукнулъ кулакомъ по столу:

— Любка! Пей!

И когда она, свѣтлая и улыбающаяся, покорно надела рюмки, онъ поднялъ свою и произнесъ:

— За нашу братію!

— Ты за тѣхъ? — шепнула Люба.

— Нѣтъ, за этихъ. За нашу братію! За подлецовъ, за мерзавцевъ, за трусовъ, за раздавленныхъ жизнью. За тѣхъ, кто умираетъ отъ сифилиса . . .

Дѣвицы разсмѣялись, но толстая лѣниво попрекнула:

— Ну, это, голубчикъ, уже слишкомъ.

— Молчи! — сказала Люба, блѣднѣя. — Онъ мой суженый!

— За всѣхъ слѣпыхъ отъ рожденія. Зрячіе! выколемъ себѣ глаза, ибо стыдно — онъ стукнулъ кулакомъ по столику — ибо стыдно зрячимъ смотрѣть на слѣпыхъ отъ рожденія. Если нашими фонариками не

можемъ освѣтить всю тьму, такъ погасимъ же огни и всѣ полѣземъ въ тьму. Если нѣтъ рая для всѣхъ, то и для меня его не надо — это уже не рай, дѣвицы, а просто — напросто, свинство. Выпьемъ за то, дѣвицы, чтобы всѣ огни погасли. Пей, темнота!

Онъ слегка покачнулся и выпилъ. Говорилъ онъ нѣсколько туго, но твердо, отчетливо, съ паузами, выговаривая каждое слово. Никто не понялъ этой дикой рѣчи, но всѣмъ онъ понравился — понравился онъ самъ, блѣдный и какъ то по особенному злой. Вдругъ быстро заговорила Люба, протягивая руки:

— Онъ мой суженый. Онъ останется со мною. Онъ былъ честный, у него есть товарищи, а теперь онъ останется со мною.

— Поступай къ намъ, на мѣсто Маркуши! — лѣниво сказала толстая.

— Молчи, Манька, я морду тебѣ побью! Онъ останется со мною. Онъ былъ честный.

— Мы всѣ были честныя — сказала злая, старая. И другія подхватили:

— Я до четырехъ лѣтъ была честная . . . Я и сейчасъ честная, ей-Богу!

Люба чуть не плакала:

— Молчите, дряни вы этакія. У васъ честность отняли, а онъ самъ отдалъ. Взялъ и отдалъ: на мою честность! Не хочу я честности! Вы всѣ тутъ . . . , а онъ еще невинненькій . . .

Она всхлинула — и все разразилось хохотомъ. Хохотали, какъ могутъ хохотать только пьяные, со всею безудержностью ихъ чувствъ; хохотали, какъ можно только хохотать въ маленькой комнаткѣ, гдѣ воздухъ уже насытился звуками, уже не принимаетъ ихъ и гулко выбрасываетъ назадъ, оглушая. Плакали отъ смѣха, валились другъ на друга, стонали; тоненькимъ голоскомъ кудахтали толстая и бессильно падала со стула; наконецъ, глядя на нихъ, залился хохотомъ онъ самъ. Точно

весь сатанинскій міръ собрался сюда, чтобы хохотомъ проводить въ могилу маленькую, невинную честность — и хохотала тихо сама умершая честность. Не смѣялась только Люба. Дрожа отъ возмущенія, она ломала руки, кричала что то и, наконецъ, бросилась бить кулаками толстую, и та еле-еле безсильно отводила ее голыми, круглыми, какъ бревна, руками.

— Будеть! — кричалъ онъ, но онъ не слышали. Наконецъ, понемногу стихли.

— Будеть! — еще разъ крикнулъ онъ. — Стойте. Я вамъ еще штучку покажу.

— Оставь ихъ! — говорила Люба, вытирая кулакомъ слезы. — Ихъ всѣхъ надо выгнать!

— Испугалась? — повернулъ онъ лицо, еще дрожащее отъ хохота. — Честности захотѣлось? Глупая — тебѣ все время только ее и хочется! Оставь меня!

И не обращая больше на нее вниманія, онъ обернулся къ тѣмъ, всталъ, высоко поднялъ руки:

— Слушайте. Погодите. Я сейчасъ вамъ покажу. Смотрите сюда, на мои руки.

И настроенныя весело и любопытно, онъ смотрѣли на его руки и послушно, какъ дѣти, ждали, разинувъ рты.

— Вотъ — онъ потрясъ руками — я держу въ рукахъ мою жизнь. Видите?

— Видимъ! Дальше!

— Она была прекрасна, моя жизнь. Она была чиста и прелестна, моя жизнь. Она была, знаете, какъ тѣ красивыя вазы изъ фарфора. И вотъ глядите: я бросаю ее! — онъ опустилъ руки почти со стономъ, и всѣ глаза обратились на землю, какъ будто тамъ дѣйствительно лежало что то хрупкое и нѣжное, разбитое на куски — прекрасная человѣческая жизнь.

— Топчите же ее, дѣвки! Топчите, чтобы кусочка не осталось! — топнулъ онъ ногой.

И какъ дѣти, которыя радуются новой шалости, онъ всѣ съ визгомъ и хохотомъ вскочили и начали



топтать то мѣсто, гдѣ невидимо лежала разбитая нѣжная, фарфоровая ваза — прекрасная человѣческая жизнь. И постепенно овладѣвала ими ярость. Смолкъ хохоть и визгъ. Только тяжелое дыханіе, густой сапъ и топоть ногъ, яростный, беспощадный, неукротимый.

Какъ оскорбленная царица, черезъ плечо, глядѣла на него Люба яростными глазами, и вдругъ, точно понявъ, точно обезумѣвъ — съ радостнымъ стономъ бросилась въ середину толкущихся женщинъ и быстро затопала ногами. Если бы не серьезность пьяныхъ лицъ, если бы не яростность потускнѣвшихъ глазъ, не злоба искаженныхъ, искривленныхъ ртовъ — можно было бы подумать, что это новый, особенный танецъ безъ музыки и безъ ритма.

И сцѣпивъ пальцами твердый, щетинистый черепъ — спокойно и угрюмо смотрѣлъ онъ.

\* \* \*

Говорили въ темнотѣ два голоса.

Голосъ Любы близкій, внимательный, чуткій, съ легкими нотками особеннаго страха, какимъ бываетъ всегда голосъ женщины въ темнотѣ — и его, твердый, спокойный, далекій. Слова онъ выговаривалъ слишкомъ твердо, слишкомъ отчетливо — и только въ этомъ чувствовался еще не совсѣмъ прошедшій хмѣль.

— У тебя глаза открыты? — спрашивала женщина.

— Открыты.

— Ты думаешь о чемъ-нибудь?

— Думаю.

Молчаніе и темнота, и снова внимательный, сторожкій женскій голосъ:

— Расскажи мнѣ еще о твоихъ товарищахъ. Ты можешь?

— Отчего же? Они были . . .

Онъ говорилъ „были“ — какъ живые говорятъ о мертвыхъ, или какъ мертвый могъ бы говорить о живомъ. И рассказывалъ спокойно, почти равнодушно,

съ похоронными отзвуками мѣди въ ровно текущемъ голосѣ — какъ старикъ, который разсказываетъ дѣтямъ героическую сказку о давно минувшихъ годахъ. И въ темнотѣ, безпредѣльно раздвинувшей границы комнаты, вставала передъ зачарованными глазами Любы крохотная горсточка людей, страшно молодыхъ, лишенныхъ матери и отца, безнадежно враждебныхъ и тому міру, съ которымъ борются и тому — за который борются они. Ушедшіе мечтою въ далекое будущее, къ людямъ братьямъ, которые еще не родились, свою короткую жизнь они проходятъ блѣдными, окровавленными тѣнями, призраками, которыми люди пугаютъ другъ друга. И безумно коротка ихъ жизнь: каждаго изъ нихъ ждетъ висѣлица, или каторга, или сумасшествіе; больше нечего ждать — каторга, висѣлица, сумасшествіе. И есть среди нихъ женщины . . .

Люба охнула и приподнялась на локтяхъ:

— Женщины! Что ты говоришь, миленькій!

. . . Молоденькія, нѣжныя дѣвушки, почти подростки, — мужественно и смѣло идутъ онѣ по стопамъ мужчинъ и гибнуть . . .

— Гибнуть. Господи! — Люба всхлипнула и прижалась къ его плечу.

— Что — растрогалась?

— Ничего, миленькій, я такъ. Разсказывай! Разсказывай!

И онъ разсказывалъ дальше. И удивительное дѣло: ледъ превращался въ огонь, въ похоронныхъ отзвукахъ его прощальной рѣчи для дѣвушки съ открытыми горящими глазами вдругъ зазвучалъ благовѣстъ новой, радостной, могучей жизни. Слезы быстро накопились на ея глазахъ и сошли, словно на огнѣ; взволнованная мятежно, она жадно слушала, и каждое тяжелое слово, какъ молотъ по горячему желѣзу, ковало въ ней новую звонкую душу. Равномѣрно опускался молотъ, и все звончѣе становилась душа — и вдругъ въ душномъ

смердѣ комнаты громко прозвучалъ новый, незнакомый голосъ — голосъ человѣка:

— Милый! Вѣдь я тоже женщина!

— Чего же ты хочешь?

— Вѣдь я тоже могу пойти къ нимъ!

Онъ молчалъ. И вдругъ въ молчаніи своемъ, въ томъ, что онъ былъ ихъ товарищемъ, жилъ вмѣстѣ съ ними — показался ей такимъ особеннымъ и важнымъ, что даже неловко стало лежать съ нимъ, такъ, просто, рядомъ и обнимать его. Отодвинулась немного и руку положила легко, такъ, чтобы прикосновеніе чувствовалось какъ можно меньше. И забывая свою ненависть къ хорошимъ, всѣ слезы свои и проклятія, долгіе годы ненаружимаго одиночества въ вертепѣ, покоренная красотою и самоотреченіемъ ихней жизни — взволновалась до краски въ лицѣ, почти до слезъ, отъ страшной мысли, что тѣ могутъ ее не принять.

— Милый! А они примутъ меня? Господи, что это такое? Какъ ты думаешь, какъ ты думаешь, они примутъ меня, они не побрезгуютъ. Они не скажутъ: тебѣ нельзя, ты грязная, ты собою торговала? Ну, скажи!

Молчаніе и отвѣтъ, несущій радость:

— Примутъ. Отчего же?

— Миленькій ты мой! Какіе же они . . .

— Хорошіе — добавилъ мужской голосъ, словно поставилъ тупую, круглую точку. И радостно, съ трогательнымъ довѣріемъ, дѣвушка повторила:

— Да. Хорошіе.

И такъ свѣтла была ея улыбка, что казалось улыбнулась сама темнота, и какія то звѣздочки забѣгали — голубенькія, маленькія точки. Приходила къ женщинѣ новая правда, но не страхъ, а радость несла съ собою.

И робкій, просящій голосъ:

— Такъ пойдешь къ нимъ, милый! Ты отведешь меня, не постыдишься, что привелъ такую? Вѣдь они поймутъ, какъ ты сюда попалъ. На самомъ дѣлѣ, за

человѣкомъ гонятся, куда ему дѣваться. Тутъ не только что тутъ, въ покойную яму полѣзешь. И я . . . и я . . . я уже постараюсь. Что же ты молчишь?

Угрюмое молчаніе, въ которомъ слышно біеніе двухъ сердець — одно частое, торопливое, тревожное — и твердые, рѣдкіе, странно рѣдкіе удары другого.

— Тебѣ стыдно привести такую?

Угрюмое, длительное молчаніе и отвѣтъ, отъ котораго повѣяло холодомъ и неуклонностью жесткаго камня.

— Я не пойду. Я не хочу быть хорошимъ.

Молчаніе.

— Они господа! — какъ то странно и одиноко прозвучалъ его голосъ.

— Кто? — глухо спросила дѣвушка.

— Тѣ, прежніе.

И опять длительное молчаніе — точно откуда то сверху сорвалась птица и падаетъ, безшумно крутясь въ воздухѣ мягкими крыльями и никакъ не можетъ достичь земли, чтобы разбиться о нее и лечь спокойно. Въ темнотѣ онъ почувствовалъ, какъ Люба, молча и осторожно, стараясь какъ можно меньше касаться, перебралась черезъ него и стала возиться съ чѣмъ то.

— Ты что?

— Я не хочу лежать такъ. Хочу одѣться.

Должно быть одѣлась и сѣла, потому что легонько скрипнулъ стулъ. И стало такъ тихо, какъ будто въ комнатѣ не было никого. И долго было тихо; и спокойный, серьезный голосъ сказалъ:

— Тамъ, Люба, на столѣ, остался кажется еще коньякъ. Выпей рюмочку и ложись.

## VI.

Уже совсѣмъ разсвѣтало, и въ домѣ было тихо, какъ во всякомъ домѣ — когда явилась полиція. Послѣ долгихъ сомнѣній и колебаній, боязни скандала и отвѣт-

ственности — въ полицейскій участокъ былъ посланъ Маркуша съ подробнымъ и точнымъ докладомъ о странномъ посѣтителѣ, и даже съ его револьверомъ и запасными обоймами. И тамъ сразу догадались, кто это. Уже три дня полиція бредила имъ и чувствовала его тутъ, возлѣ; и послѣдніе слѣды его терялись какъ разъ въ —номъ переулкѣ. Даже предположенъ былъ на одно время обходъ всѣхъ публичныхъ домовъ въ участкѣ, но кто то отыскалъ новый, ложный путь, и туда направились поиски, и про домъ забыли.

Затрещалъ тревожно телефонъ; и уже черезъ полчаса, въ октябрьскомъ холодкѣ, сметая подошвами иней, по пустымъ улицамъ двигалась молча огромная толпа городскихъ и сыщиковъ. Впереди, всѣмъ тѣломъ чувствуя свою зловѣщую выброшенность впередъ, шелъ участковый приставъ, очень высокій пожилой человекъ въ широкомъ, какъ мѣшокъ, форменномъ пальто. Онъ зѣвалъ, зарывая красноватый, отвислый носъ въ сѣдѣющихъ усахъ и думалъ, съ холодной тоскою, что надо было подождать солдатъ, что безмысленно идти на такого человекъ безъ солдатъ, съ одними сонными, неуклюжими городскими, неумѣющими стрѣлять. И уже нѣсколько разъ мысленно назвалъ себя „жертвою долга“ и каждый разъ при этомъ продолжительно и тяжело зѣвалъ.

Это былъ всегда слегка пьяный, старый приставъ, развращенный публичными домами, которые находились въ его участкѣ и платили ему большія деньги за свое существованіе; и умирать ему вовсе не хотѣлось. Когда его подняли нынче съ постели, онъ долго перекладывалъ свой револьверъ изъ одной потной ладони въ другую и, хотя времени было мало, зачѣмъ то велѣлъ почистить сюртукъ, точно собирался на смотръ. Еще наканунѣ въ участкѣ, среди своихъ, вели разговоръ о немъ, о которомъ бредила эти дни вся полиція, и приставъ съ съ цинизмомъ стараго, пьянаго своего человекъ называлъ его героемъ, а себя старой полицейской шлюхой.

И когда помощники хохотали, серьезно увѣряль, что такіе герои нужны хотя бы для того, чтобы ихъ вѣшать:

— Вѣшаешь — и ему пріятно, и тебѣ пріятно. Ему, потому что идетъ прямо въ царствіе небесное, а мнѣ, какъ удостовѣреніе, что есть еще храбрые люди, не перевелись. Чего зубы скалите — вѣрно-сь!

Правда, онъ и самъ смѣялся при этомъ, такъ какъ давно позабылъ, гдѣ въ его словахъ правда, а гдѣ ложь, то, что табачнымъ дымомъ обволакивало всю его безпутную, пьяную жизнь. Но сегодня — въ октябрьскомъ утрѣ, идя по холоднымъ улицамъ, онъ ясно почувствовалъ, что вчерашнее — ложь и что „онъ“ просто негодяй; и было стыдно вчерашнихъ мальчишескихъ словъ.

— Герой! Какъ же! Господи, да если онъ — называлъ приставъ въ молитвѣ — да если онъ, мерзавецъ, пошевельнется, убью, какъ собаку. Господи!

И опять думалъ, отчего ему, приставу, уже старому, уже подагрику такъ хочется жить? И вдругъ догадался: это оттого, что на улицахъ иней. Обернулся назадъ и свирѣпо крикнулъ:

— Въ ногу! Идутъ, какъ бараны . . . с . . . с . . .

А подъ пальто поддувало, а сюртукъ былъ широкъ, и все тѣло болталось въ одеждѣ, какъ желтокъ въ болтнѣ — точно вдругъ сразу похудѣлъ онъ. Ладони же рукъ, несмотря на холодъ, были потныя.

Домъ окружили такъ, будто не одного спящаго человѣка собирались взять, а сидѣла тамъ цѣлая рота непріятелей; и потихоньку, на ципочкахъ, пробрались по темному корридору, къ той страшной двери. Былъ отчаянный стукъ, крикъ, трусливыя угрозы застрѣлить сквозь дверь; и когда, почти сбивая съ ногъ полуголю Любу, ворвались дружной лавой въ маленькую комнату и наполнили ее сапогами, шинелями, ружьями, то увидѣли: онъ сидѣлъ на кровати въ одной рубашкѣ, спустивъ на полъ голыя, волосатыя ноги, сидѣлъ и мол-

чалъ. И не было ни бомбы, ни другого страшнаго. Была только обыкновенная комната проститутки, грязная и противная при утреннемъ свѣтѣ, смятая широкая кровать, разбросанное платье, загаженный и залитый портеромъ столъ; и на кровати сидѣлъ бритый, скуластый мужчина съ заспаннымъ, припухшимъ лицомъ и волосатыми ногами и молчалъ.

— Руки вверхъ! — крикнулъ изъ-за спины приставъ и крѣпче зажалъ въ потной ладони револьверъ.

Но онъ рукъ не поднялъ и не отвѣтилъ.

— Обыскать! — крикнулъ приставъ.

— Да ничего же нѣту! Да я же револьверъ отнесла! Господи! — кричала Люба, лякая отъ страха зубами. И она была въ одной только смятой рубашкѣ; и среди одѣтыхъ въ шинели людей оба они, полуголый мужчина и такая же женщина, вызывали стыдъ, отвращеніе, безглицкую жалость. Обыскали его одежду, обшарили кровать, заглянули въ углы, въ комодъ и не нашли ничего.

— Да я же револьверъ отнесла! — твердила бессмысленно Люба.

— Молчать, Любка! — крикнулъ приставъ. Онъ хорошо зналъ дѣвушку, раза два или три ночевалъ съ нею, и теперъ вѣрилъ ей; но такъ неожиданенъ былъ этотъ счастливый исходъ, что хотѣлось отъ радости кричать, распоряжаться, показывать власть.

— Какъ фамилія?

— Не скажу. И вообще на вопросы отвѣчать не буду.

— Конечно-съ, конечно! — иронически отвѣтилъ приставъ, но нѣсколько оробѣлъ. Потомъ взглянулъ на его голыя, волосатыя ноги, на всю эту мерзость — на дѣвушку, дрожавшую въ углу и вдругъ усомнился.

— Да тотъ ли это? — отвелъ онъ сыщика въ сторону. — Что то какъ будто . . .

Сыщикъ, пристально вглядывавшійся въ его лицо, утвердительно мотнулъ головой:

— Тотъ. Бороду только сбрилъ. По скуламъ узнать можно.

— Скулы разбойничьи, это вѣрно . . .

— Да и на глаза гляньте. Я его по глазамъ изъ тысячи узнаю.

— Глаза, да . . . Покажи-ка карточку.

Онъ долго разглядывалъ матовую безъ ретуши карточку того — и былъ онъ на ней очень красивый, какъ то особенно чистый молодой человѣкъ съ большой русской, окладистой бородою. Взглядъ былъ, пожалуй, тотъ же, но не угрюмый, а очень спокойный и ясный. Скулъ только не было замѣтно.

— Видишь: скулъ не видать.

— Да подъ бородою же. А ежели прощупать глазомъ . . .

— Такъ то оно такъ, но только . . . Запой что ли у него бываетъ?

Высокій, худой сыщикъ съ желтымъ лицомъ и рѣденькой бородкой, самъ запойный пьяница, покровительственно улыбнулся:

— У нихъ запоя не бываетъ-сь.

— Самъ знаю, что не бываетъ. Но только . . . Послушайте — подошелъ приставъ: — это вы участвовали въ убійствѣ N? — онъ назвалъ почтительно очень важную и извѣстную фамилию.

Но тотъ молчалъ и улыбался. И слегка покачивалъ одной волосатой ногой съ кривыми, испорченными обувью пальцами.

— Васъ спрашиваютъ! . .

— Да оставьте. Онъ не будетъ же отвѣчать. Подождемъ ротмистра и прокурора. Тѣ заставятъ разговориться!

Приставъ засмѣялся, но на душѣ у него становилось почему то все хуже и хуже. Когда лазили подъ кровать, разлили что то, и теперь въ непровѣтренной комнаткѣ очень дурно пахло. „Мерзость какая!“ — поду-



малъ приставъ, хотя въ отношеніи чистоты былъ чело-  
вѣкъ не требовательный, и съ отвращеніемъ взглянулъ  
на голую качающуюся ногу. Еще ногой качаетъ! Обер-  
нулся: молодой, бѣлобрысый, съ совсѣмъ бѣлыми рѣс-  
ницами городской глядѣлъ на Любу и ухмылялся, держа  
ружье обѣими руками, какъ ночной сторожъ въ деревнѣ  
палку.

— Эй, Любка! — крикнулъ приставъ: — ты что же  
это, сучья дочь, сразу не донесла, кто у тебя?

— Да я же . . .

Приставъ ловко дважды ударилъ ее по щекѣ, по  
одной, по другой.

— Вотъ тебѣ! Вотъ тебѣ! Я вамъ тутъ покажу!

У того поднялись брови и перестала качаться нога.

— Вамъ не нравится это, молодой человекъ? —  
приставъ все болѣе и болѣе презиралъ его. — Что же  
подѣлаешь! Вы эту харю цѣловали, а мы на этой харѣ . . .

И засмѣялся, и улынулись конфузливо городовые.  
И что было всего удивительнѣе: засмѣялась сама побитая  
Люба. Глядѣла приятно на стараго пристава, точно ра-  
дуясь его шутиivosti, его веселому характеру, и смѣя-  
лась. На него, съ тѣхъ поръ, какъ пришла полиція,  
она ни разу не взглянула, предавая его наивно и от-  
кровенно; и онъ видѣлъ это, и молчалъ, и улыбался  
странной усмѣшкой, похожей на то, какъ если бы улыб-  
нулся въ лѣсу сѣрый, вросшій въ землю, заплѣсневшій  
камень. А у дверей уже толпились полуодѣтыя женщины:  
были среди нихъ и тѣ, что сидѣли вчера съ ними. Но  
смотрѣли онѣ равнодушно, съ тупымъ любопытствомъ,  
какъ будто въ первый разъ встрѣчали его; и видно  
было, что изъ вчерашняго онѣ ничего не запомнили.  
Скоро ихъ прогнали.

Разсвѣло совсѣмъ и въ комнатѣ стало еще отвра-  
тительнѣе и гаже. Показались два офицера, не вы-  
спавшіеся, съ помѣтymi физіономіями, но уже одѣтые,  
чистые и вошли въ комнату.

— Нельзя, господа, ей-Богу, нельзя! — лѣниво говорилъ приставъ и злобно смотрѣлъ на него. Подходили, осматривали его съ головы до голыхъ ногъ съ кривыми пальцами, оглядывали Любу и, не стѣсняясь, обмѣнивались замѣчаніями.

— Однако, хорошъ! — сказалъ молоденькій офицерикъ, тотъ, что сзывалъ всѣхъ на котильонъ. У него дѣйствительно были прекрасные бѣлые зубы, пушистые усы и нѣжные глаза съ большими дѣвичьими рѣсницами. На арестованнаго офицерикъ смотрѣлъ съ безгливой жалостью и морщился такъ, будто сейчасъ готовъ былъ заплакать. На лѣвомъ мизинцѣ у того была мозоль, и и было почему то отвратительно и страшно смотрѣть на этотъ желтоватый маленькій бугорокъ. И ноги были грязноваты. — Какъ же это вы, сударь, ай-ай-ай! — качалъ головой офицеръ и мучительно морщился.

— Такъ то-съ, господинъ анархистъ. Не хуже насъ грѣшныхъ съ дѣвочками. Плоть же и у васъ, стало быть, немощна? — засмѣялся другой постарше.

— Зачѣмъ вы револьверъ свой отдали? Вы бы могли хоть стрѣлять. Ну, я понимаю, ну, вы попали сюда, это можетъ быть со всякимъ, но зачѣмъ же вы отдали револьверъ? Вѣдь это нехорошо передъ товарищами! — горячо говорилъ молоденькій и объяснялъ старшему офицеру: — знаете, Кнорре, у него былъ браунингъ, съ тремя обоймами, представьте! Ахъ, какъ это нелѣпо.

И улыбаясь насмѣшливо, съ высоты своей новой, невѣдомой міру и страшной правды, глядѣлъ онъ на молоденькаго, взволнованнаго офицера и равнодушно покачивалъ ногою. И то, что онъ былъ почти голый, и то, что у него волосатая, грязноватая нога съ испорченными кривыми пальцами — не стыдило его. И если бы такимъ же вывести его на самую людную площадь въ городѣ и посадить передъ глазами женщинъ, мужчинъ и дѣтей — онъ такъ же равнодушно покачивалъ бы волосатой ногою и улыбался насмѣшливо.

— Да развѣ они понимаютъ, что такое товарищество! — сказалъ приставъ, свирѣпо косясь на качающуюся ногу и лѣниво убѣждалъ офицеровъ: — нельзя разговаривать, господа, ей-Богу, нельзя. Сами знаете инструкціи.

Но свободно входили новые офицеры, осматривали, переговаривались. Одинъ, очевидно, знакомый, поздоровался съ приставомъ за руку. И Люба уже кокетничала съ офицерами.

— Представьте, браунинъ, три обоймы, и онъ, дуракъ, самъ его отдалъ — рассказывалъ молоденькій. — Не понимаю!

— Ты, Миша, никогда этого не поймешь.

— Да вѣдь не трусы же они!

— Ты, Миша, идеалистъ, у тебя еще молоко на губахъ не обсохло . . .

— Самсонъ и Далила! — сказалъ иронически невысокій, гнусавый офицеръ съ маленькимъ полупровалившимся носикомъ и высоко зачесанными рѣдкими усами.

— Не Далила, а просто она его удавила.

Засмѣялись.

Приставъ, улыбавшійся пріятно и потиравшій книзу свой красноватый, отвислый носъ, вдругъ подошелъ къ нему, сталъ такъ, чтобы загородить его отъ офицеровъ своимъ туловищемъ въ широкомъ свисавшемъ сюртукѣ — и заговорилъ сдушеннымъ шопотомъ, бѣшено ворочая глазами:

— Стыдно-съ! . . . Штаны бы надѣли-съ! . . . Офицеры-съ! . . . Стыдно-съ. Герой тоже . . . Съ дѣвкой связался, съ стервой . . . Что товарищи твои скажутъ, а? . . . У-ухъ, ска-а-тина . . . !

Напряженно вытянувъ голую шею, слушала его Люба. И такъ стояли они, другъ возлѣ друга, три правды, три разныя правды жизни: старый взяточникъ и пьяница, жаждавшій героевъ, распутная женщина, въ

душу которой были уже заброшены смена подвига и самоотречения, — и онъ. Послѣ словъ приставъ онъ нѣсколько поблѣднѣлъ и даже какъ будто хотѣлъ что то сказать — но вмѣсто того улыбнулся и вновь спокойно закачалъ волосатой ногою.

Разошлись понемногу офицеры, городовые привыкли къ обстановкѣ, къ двумъ полуголымъ людямъ и стояли сонно, съ тѣмъ отсутствіемъ видимой мысли, какая дѣлаетъ похожими лица всѣхъ сторожей. И положивъ руки на столъ задумался приставъ глубоко и печально — о томъ, что заснуть сегодня уже не придется, что надо идти въ участокъ и принимать дѣла. И еще о чемъ то, еще болѣе печальномъ и скучномъ.

— Можно мнѣ одѣться? — спросила Люба.

— Нѣтъ.

— Мнѣ холодно.

— Ничего, посидишь и такъ.

Приставъ не глядѣлъ на нее. И перегнувшись, вытянувъ тонкую шею, она что то шепнула тому, нѣжно, однѣми губами. Онъ поднялъ вопросительно брови, и она повторила:

— Миленькій! Миленькій мой! . .

Онъ кивнулъ головою и улыбнулся ласково. И то, что онъ улыбнулся ей ласково и, значить, ничего не забылъ, и то, что онъ такой гордый и хорошій былъ раздѣтъ и всѣми презираемъ, и его грязныя ноги — вдругъ наполнили ее чувствомъ нестерпимой любви и бѣшеннаго слѣпота гнѣва. Взвизгнувъ, она бросилась на колѣни, на мокрый полъ и охватила руками холодныя волосатыя ноги.

— Одѣнься, миленькій! — крикнула она изступленно: — одѣнься!

— Любка, оставь! — отгаскивалъ ее приставъ. — Не стойтъ онъ этого!

Дѣвушка вскочила на ноги.

— Молчи, старый подлец! Онъ лучше васъ всѣхъ!

— Онъ скотина!

— Это ты скотина!

— Что? — вдругъ разсвирѣпѣлъ приставъ. — Эй, Федосѣенко, возьми ее. Да ружье то поставь, болванъ!

— Миленькій! да зачѣмъ же ты револьверъ отдалъ — вопила дѣвушка, отбиваясь отъ городского. — Да зачѣмъ же ты бомбу не принесъ . . . Мы бы ихъ . . . мы бы ихъ . . . всѣхъ . . .

— Ротъ ей зажми!

Задыхаясь, уже молча, боролась отчаянно женщина и старалась укусить хватавшіе ее жесткіе пальцы. И растерянно, не зная какъ бороться съ женщинами, хватая ее то за волосы, то за обнажившуюся грудь, валилъ ее на полъ бѣлобрысый городской и отчаянно сопѣлъ. А въ корридорѣ уже слышались многочисленныя, громкіе, развязные голоса и звенѣли шпоры жандарма. И что то говорилъ сладкій, задушевный, поющій баритонъ, точно приближался это оперный пѣвецъ, точно теперь только начиналась серьезная, настоящая опера.

Приставъ opravилъ сюртукъ.





Поступили въ продажу:

- М. Горькій — Дѣти Солнца. Драма. Цѣна 2 марки.  
 М. Горькій — Варвары. Жанровая пьеса. Цѣна 2 марки.  
 М. Горькій — Враги. Сцены. Цѣна 2 марки.  
 М. Горькій — Мать. Романъ. Цѣна 4 марки.  
 М. Горькій — Въ Америкѣ. Очерки. Цѣна 1 м. 50 пф.  
 М. Горькій — 9-е Января. Очеркъ. Цѣна 60 пф.  
 М. Горькій — Человѣкъ. Поэма. Цѣна 60 пф.  
 М. Горькій — Товарищъ! Сказка. Цѣна 50 пф.  
 М. Горькій — Прекрасная Франція. Цѣна 50 пф.  
 М. Горькій — Одинъ изъ королей республики. Ц. 50 пф.  
 М. Горькій — Жрецъ морали. Цѣна 50 пф.  
 М. Горькій — Хозяева жизни. Цѣна 50 пф.  
 М. Горькій — Русскій царь. Цѣна 50 пф.  
 Л. Андреевъ — Савва (Ignis Sanat.) Драма. Цѣна 2 мар.  
 Л. Андреевъ — Къ звѣздамъ. Драма. Цѣна 1 м. 50 пф.  
 Л. Андреевъ — Жизнь человѣка. Предст. Ц. 1 м. 50 пф.  
 Л. Андреевъ — Иуда Искариотъ и другіе. Цѣна 1 м. 50 пф.  
 Л. Андреевъ — Жизнь Василя Оивейскаго. Ц. 1 м. 50 пф.  
 Л. Андреевъ — Губернаторъ. Повѣсть. Цѣна 1 м. 20 пф.  
 Л. Андреевъ — Проклятiе звѣря. Разсказъ. Ц. 1 м. 20 пф.  
 Л. Андреевъ — Такъ было. Очеркъ. Цѣна 75 пф.  
 Л. Андреевъ — Христіане. Разсказъ. Цѣна 50 пф.  
 Л. Андреевъ — Елеазаръ. Разсказъ. Цѣна 50 пф.  
 Е. Чириковъ — Мужики. Сцены. Цѣна 2 марки.  
 Е. Чириковъ — Мятужники. Повѣсть. Цѣна 1 м. 50 пф.  
 Е. Чириковъ — Легенда стараго замка. Цѣна 1 м. 50 пф.  
 Е. Чириковъ — Евреи. Драма. Цѣна 1 мар. 50 пф.  
 Е. Чириковъ — Красные огни. Цѣна 1 марка.  
 Е. Чириковъ — На порукахъ. Повѣсть. Цѣна 1 марка.  
 Е. Чириковъ — „Товарищъ“. Разсказъ. Цѣна 50 пф.  
 С. Юшкевичъ — Голодь. Драма. Цѣна 2 марки.  
 С. Юшкевичъ — Прологъ. Романъ. Цѣна 2 марки.  
 С. Юшкевичъ — Евреи. Романъ. Цѣна 2 марки.  
 С. Юшкевичъ — Дина Гланкъ. Драма. Цѣна 1 м. 50 пф.  
 С. Юшкевичъ — Чужая. Пьеса. Цѣна 1 марка.  
 Скиталець — Полевой судъ. Разсказъ. Цѣна 50 пф.  
 Скиталець — Лѣсъ разгорался. Разсказъ. Цѣна 50 пф.  
 Скиталець — Огарки. Повѣсть. (Изданіе распродано.)  
 Д. Айзманъ — Терновый кустъ. Трагедія. Ц. 1 м. 50 пф.  
 В. Вересаевъ — Честнымъ путемъ. Повѣсть. Ц. 1 мар.  
 Н. Гаринъ — Корейскія сказки. Цѣна 2 марки.  
 Кн. С. Д. Урусовъ — Записки губернатора. (Распродано.)